



Евгений Карнович
Придворное кружево

«Public Domain»

1885

Карнович Е. П.

Придворное кружево / Е. П. Карнович — «Public Domain», 1885

Интересен и трагичен для многих героев Евгения Карновича роман «Придворное кружево», изящное название которого скрывает борьбу за власть сильных людей петровского времени в недолгое правление Екатерины I и сменившего ее на троне Петра II.

© Карнович Е. П., 1885

© Public Domain, 1885

Содержание

I	5
II	9
III	13
IV	16
V	20
VI	23
VII	27
VIII	30
IX	33
X	36
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Евгений Петрович Карнович

Придворное кружево

I

– Вы как-то сказали мне, что любимое ваше рукоделье – плетенье кружев¹, а я теперь вижу, что вы не только большая любительница такой работы, но что у вас еще и много вкуса по этой части. Ведь это ваше домашнее кружево? Да, вероятно, и узор для него был нарисован вами?

Так говорил, сидя в креслах у канапе*, подле княгини Марфы Петровны Долгоруковой, красивый, средних лет мужчина. Разговор они вели между собою на французском языке, причем гость хотя и выражался самым изящным французским языком, но в произношении его слышался легкий немецкий оттенок. Княгиня же бойко говорила на чуждом ей французском языке.

Одежда ее собеседника представляла что-то особенное по сочетанию цветов. На нем был надет белый гродетуровый кафтан французского покроя*, с зелеными обшлагами и небольшим отложным воротником такого же цвета. По его белому шелковому камзолу шла зеленая орденовая лента. Исподнее его платье, шелковые чулки, а также и плюмаж* на треугольной шляпе были зеленые. У подъезда того дома, где беседовал этот господин, стояла запряженная шестернею лошадей карета зеленого цвета, обитая внутри белым атласом. Кучер, фореитор и гайдуки*, ожидавшие выхода своего господина, были также одеты в белое платье с зеленым прибором.

Происходило это в Петербурге, в начале 1726 года. В ту пору в Западной Европе геральдические* цвета на одежде, на экипаже и на ливреях у слуг имели еще важное значение, и сочетание зеленого цвета с белым должно было наводить на мысль, что находившийся в доме княгини Долгоруковой гость имел близкие отношения к Венгрии. Действительно, этот и по виду и по обстановке важный господин – граф Рабутин* был посол его апостолического величества, короля венгерского, а вместе с тем и императора римско-немецкого Карла VI*, прирожденного эрцгерцога Австрийского.

В ответ на замечание посла о кружеве молодая женщина не без самодовольства стала разглаживать свою нежной ручкой на колене складку шелковой робы, отделанной кружевом.

– Вы не ошиблись, граф. Кружево это сделано у меня дома, по моему рисунку; а знаете что?.. – сказала она и приостановилась как будто в раздумье.

Рабутин придал своему лицу выражение напряженного внимания, в ожидании, что скажет далее его собеседница.

– Я хотела бы, – запинаясь начала хозяйка, – при вашем посредстве иметь счастье представить кружевной убор самой лучшей работы вашей августейшей государыне*, – если только мое почтительное приношение может заслужить такую высокую честь.

– Как вы отлично знаете любовь императрицы к изделиям этого рода! – торопливо подхватил Рабутин. – Хотя ее величество вовсе не охотница до пышных нарядов, и драгоценные уборы Габсбургского дома* остаются при ней без всякого употребления, но что касается кружев, то она постоянно приобретает их за самую большую цену. Ее величество даже поручила мне купить их в России, так как она слышала похвалы русским кружевам, и я уже готовился просить вас, чтобы вы благоволили помочь мне исполнить поручение моей возлюбленной повелительницы, а теперь мне остается только благодарить вас и от имени ее величества, и лично от

¹ *Объяснение слов и выражений, помеченных «звездочкой», см. в комментариях в конце издания. – Ред.*

себя за ваше любезное предложение. Могу сказать с полной уверенностью, что ее величеству будет чрезвычайно приятен ваш неожиданный подарок.

Хотя императрица и не давала Рабутину такого поручения, да едва ли когда-нибудь и была у ней с ним речь о кружевах вообще и о русских в частности, но тем не менее ловкий дипломат счел нужным, по обычаю тогдашнего льстивого времени, наговорить разных любезностей хозяйке. Да притом и речь о кружевах он завел с нею, имея в расчете перейти от этого разговора к другому, имевшему для него существенное значение. С той же стороны и Долгорукова воспользовалась таким разговором, рассчитывая сделанным ею подарком императрице обратить на себя ее внимание.

– Мне очень приятно, что я так часто схожусь с вами в моих мыслях, и если бы я была назначена моею государыней вести с вами переговоры, то, по всей вероятности, вы очень скоро окончили бы поручения по каким бы то ни было важным делам, – улыбнувшись, заметила хозяйка. – А теперь все мои переговоры с вами должны ограничиваться только вопросом о кружевах.

– Что же, однако, мешает переходить нам в наших откровенных беседах и к более важным, пожалуй, государственным делам, – как будто добродушно, но вместе с тем и несколько лукаво сказал Рабутин.

– Но я вовсе незнакома с тонкостями дипломатии, – заметила хозяйка, – и даже о вашем поручении знаю очень смутно, по одним только городским слухам, которые обыкновенно бывают и сбивчивы, и преувеличены, а иногда и просто-напросто оказываются вымышленными. Что же касается лично меня, то мне кажется, что я вовсе даже не способна к дипломатии, если бы даже и была мужчиной.

– Не говорите этого, – с живостью перебил Рабутин, – и позвольте мне на этот раз отказаться от главного свойства искусных дипломатов – от скрытности. Я буду с вами откровенен и выскажу вам не какие-нибудь любезности, а только истину, не подлежащую ни малейшему сомнению для тех, кто имеет честь знать вас. Вы, княгиня, умны, образованы и проницательны, да притом и выросли в той среде, где еще с детства могли слышать иногда о политических делах...

Говоря это, Рабутин пристально смотрел на Долгорукову, а смотреть на нее и без всяких даже дипломатических соображений могло быть большим наслаждением для каждого мужчины, а в особенности для такого влюбчивого, каким был посол его апостолического величества. Перед ним была молодая, лет двадцати шести женщина, высокая, стройная, недаром слышавшая в Петербурге красавицей и, вдобавок к тому, считавшаяся умницей, хотя в ту пору на Руси женскому уму и не придавали еще никакого значения. Наружностью своей она заметно разнилась от коренных русских красавиц, так как в лице ее была особая, чуждая им примесь. Ее большие черные глаза, с густыми, длинными ресницами полузакрытых век, блестели, если можно так выразиться, каким-то сухим огнем, без той влажной поволоки, которая считается принадлежностью чисто русской красоты, а несколько выдавшаяся вперед нижняя губа и очертания носа придавали ей оттенок женщины восточного происхождения. Такие особенности не были у Долгоруковой случайною игрою природы, но достались ей по наследству, так как в ней текла еврейская кровь. Она была дочь вице-канцлера барона Павла Ивановича Шафирова* и, следовательно, родная внучка выкрещенного еврея. От отца своего она наследовала, впрочем, не один только внешний облик, но и некоторые черты его характера, а он, как известно, отличался ловкостью в делах всякого рода и алчностью к деньгам, для приобретения которых, несмотря на свое высокое служебное положение, пускался в разные торговые и промышленные предприятия.

– Да и красота ваша, – продолжал Рабутин, не спуская пристального взгляда с Долгоруковой, – обеспечивала бы вам несомненный успех, если бы когда-нибудь пожелали войти в кружок тех людей, которые или по слепой случайности, или по действительным заслугам и

уму призваны управлять государственными делами. Как бы охотно покорились они не только каждому слову, но и каждому вашему взгляду!

– Вы начинаете вдаваться в любезности, граф, и удаляетесь от главного предмета – от кружев, – шутливо заметила Долгорукова.

– Испытайте на деле и вы убедитесь в справедливости моих слов. Займитесь плетением кружев, но только не тех, о которых мы говорили прежде, но кружев придворных, – сказал Рабутин с особенным ударением на последнем слове. – Вы будете только составлять узоры и руководить работой, а плести их явятся другие; для этого найдется немало усердных работниц и даже работников. Одни придут к вам из корыстных расчетов, другие из честолюбивых видов, а иных можно будет завлечь так, что они и не будут подозревать, что служат только бессознательными коклюшками* в руках прекрасной мастерицы. Такие люди будут самыми пригодными: с ними не надо вступать ни в какие предварительные объяснения, они не будут требовать от вас отчета в том, что им поручается исполнить, да и сами себе они не станут отдавать его, а будут довольствоваться скромными выгодами разного рода, за которые останутся вам признательными как нельзя более.

– Я понимаю настоящий смысл ваших слов и нахожу, что вы очень ловкий искуситель, – заметила хозяйка. – Но позвольте спросить вас, – с живостью добавила она, – в чью же пользу и с какою целью мы будем работать?

– В ответ на ваш вопрос, – вопрос весьма основательный, я скажу вам, что наш союз послужил бы к обоюдным выгодам как Австрии, так и России. Цель эта должна быть сочувственна для меня, как для представителя его апостолического величества, а для вас – как русской княгини, которая, без всякого сомнения, дорожит благодеянием и славою своего отечества. А что касается личной пользы, то в подобных случаях каждый будет в состоянии извлечь для себя то, что ему будет желательно. Да притом, разве то влияние и то значение, какое таким путем может приобрести женщина, не должны затрагивать ее самолюбия? Да и вообще, – продолжал Рабутин, растягивая теперь свою речь, – его величество император остается во всех отношениях чрезвычайно признателен к тем, которые радуют в его пользу. Благодарность, как известно, составляет отличительную черту его характера. Я прежде всего передам вам сущность моего поручения при здешнем дворе.

– Если вы хотите быть со мной откровенным, то и я, в свою очередь, отплачу вам тем же, – перебила княгиня. – Вы приехали сюда хлопотать, чтобы русский престол, после кончины ныне царствующей государыни*, достался не ее дочерям и их потомству, но великому князю Петру Алексеевичу*. О, данное вам поручение хотя и было прикрыто завесой, но настолько прозрачной, что у нас его разгадали очень скоро.

– Но немногие?

– Конечно.

– И в числе их были вы, княгиня, хотя за несколько минут перед этим и говорили, что считаете себя неспособной к дипломатии. Вы не ошиблись: великий князь Петр Алексеевич по матери – родной племянник императрицы-королевы, и для Габсбургского дома весьма важно, чтобы русский престол занимало лицо, находящееся с ним в таком близком родстве. Быть может, со временем, – во всяком случае, время это далеко, – династические связи утратят свое значение, но пока они имеют еще громадную силу. Посредством их завязывается обыкновенно первый узел дружественных отношений между державами, и поэтому понятна забота императора Карла о судьбе русского великого князя не только как о судьбе своего родственника, но и как будущего доброго и верного союзника Австрии.

В это время дверь в гостиную приотворилась, и на пороге показался лакей княгини.

– Ее сиятельство княгиня Аграфена Петровна* изволила к вам пожаловать, – доложил он.

– Ваша искренняя союзница, – подмигнула Долгорукова Рабутину.

- «И отлично умеет плести придворные кружева», – подумал граф.
– Назначьте мне день, когда я могу переговорить с вами наедине, – прошептал он.
– В среду, вечером, никто нам не мешает, – тихо проговорила она.

II

Рабутин встал с кресел и, опершись рукою на их спинку, самодовольно улыбался в ожидании входа гости. Долгорукова старалась скрыть смущение, произведенное в ней неожиданным приездом княгини Аграфены Петровны Волконской, так как она являлась в дом Долгоруковых только по особенно важным случаям и обыкновенно привозила какие-нибудь неприятные или тревожные вести.

Почти бегом вошла в гостиную Волконская. Она была женщина лет под сорок, высокая, худощавая; смугло-желтоватое лицо ее с густыми бровями, нависшими над умными темно-серыми глазами, отличалось выразительностью и суровостью, а в ее походке и в движениях была заметна большая самоуверенность и торопливость.

– Какая неожиданная и приятная встреча, – сказала Волконская, обращаясь к Рабутину на правильном немецком языке, после того как она расцеловалась с хозяйкой.

Рабутин подошел к Волконской и почтительно поцеловал ее руку, а она, следуя русскому обычаю, который казался так странным в Европе, поцеловала его в щеку.

Хозяйка усадила гостью на канapé, оказывая ей чрезвычайное внимание и предупредительность, а Рабутин, по приглашению Марфы Петровны, сел на прежнее свое место, подле Волконской. Наступило молчание, как это бывает всегда после внезапно прерванного разговора, который ведут собеседники, не желающие, чтоб кто-нибудь вмешался в него. Да и кроме того, в ту пору особенное уважение к тем лицам, которые почему-либо имели право на него, выражалось, между прочим, при их приходе тем, что все присутствовавшие молчали в ожидании, что скажет наиболее почетная особа.

Аграфена Петровна, обводя своим зорким взглядом хозяйку и ее гостя, тотчас же по их замешательству догадалась, что между ними шла речь о каком-нибудь важном деле и что она помешала им, прервав их беседу. Не желая, однако, обнаружить перед ними свою догадку, она очень равнодушно заговорила о городских новостях.

– Видела я сейчас Наташу Лопухину*, – начала простовато-русским говором Волконская, обращаясь исключительно к хозяйке. – Хорошеет она день ото дня. Да, впрочем, что ей делается: живет ей хорошо, муж на все сквозь пальцы смотрит.

То смешение языков, какое слышалось теперь в гостиной княгини Долгоруковой, было в Петербурге уже в первой четверти прошлого века явлением обыкновенным. Со времени Петра Великого в домах русской знати стали являться при русских боярышнях французские учительницы, и в этом отношении дом вице-канцлера Шафирова, как и дом Бестужевых-Рюминых, из которого была Волконская, занимал едва ли не первое место. Между тем на изучение родного языка не обращали никакого внимания, и потому тогдашние русские барыни и боярышни, усваивая себе правильное и достаточное знание французского языка и обучением, и практикою, учились родному языку только у нянек и прислуги. Поэтому очень часто и поражал в гостиных переход от правильной французской речи к простонародному русскому говору.

– Я рассказываю о госпоже Лопухиной, – сказала Волконская по-немецки Рабутину. – Ведь вы, конечно, знакомы с нею?

– Я имел честь быть представленным ей по приезде моем в Петербург, как статс-даме ее величества, – отозвался Рабутин, – а потом...

– А потом, конечно, и не виделись с нею. Ведь вы, граф, отъявленный поклонник женской красоты, а надобно сказать по правде, что она прекрасно олицетворяется в госпоже Лопухиной. Впрочем, ее трудно где-нибудь встретить. Она домоседка, да и у себя никого не принимает. Но ей, должно быть, не скучно, хоть муж ее и живет постоянно в деревне. Пустой он человек и гуляка, и многое ей надобно простить. Царь Петр Алексеевич выдал ее за него против ее

воли, да и Лопухин ее не любил, а ведь она женщина хорошая и может любить с большим постоянством, – с какой-то насмешкой добавила Волконская.

– Она это и доказывает в отношении к Левенвольду*, – добавила, улыбнувшись, хозяйка.

– Ну, а он платит ей тем же самым. Он тоже красавец и мог бы приискать себе здесь прекрасную невесту. Да он и нашел, или, вернее сказать, ему нашли такую. Чего бы, казалось, лучше: княжна Варвара Черкасская*, дочь князя Алексея. Ведь она считается самой богатой невестой во всей России, и так как сама она хотела выйти замуж за Левенвольда, то государыня взялась устроить эту свадьбу и готовилась обручить их. Но знаете, почему Левенвольд отказался от этого брака? Не пожелал расстаться с Наташей, а ведь он сам по себе человек с малыми средствами и, вдобавок к тому, кругом в долгах. Несмотря на то что государыня во время своей благосклонности к нему так щедро дарила его, у него не осталось теперь ровно ничего. И оттеснил-то его кто? Этот негодяй, выскочка, который теперь всемогущ и делает все, что хочет, а вы, любезный граф, сделались отчасти виновником его еще большего возвышения, – с запальчивостью добавила Волконская, сурово взглянув на Рабутина.

– Я исполнил только повеление, данное мне моим августейшим государем, – как бы оправдываясь, проговорил Рабутин.

– И кто выдумал эту небывалую у нас на Руси новизну? – продолжала Волконская, как будто не обращая внимания на оправдания своего собеседника. – Разве подходящее дело, чтобы русский великий князь обращался к иностранному государю за разрешением жениться?

Рабутин слегка откашлялся.

– Позвольте объяснить вам, княгиня, те особые обстоятельства, при которых это произошло, – мягко и уступчиво сказал он. – Русский великий князь Петр Алексеевич принадлежит по своей матери к знаменитому Габсбургско-австрийскому дому, главою которого состоит ныне его величество император римско-немецкий Карл VI. Следовательно, в обращении к его августейшей особе в том случае, о котором у нас идет теперь речь, проявилась, собственно, только родственная вежливость, конечно, не обязательная для великого князя. Кроме того, здесь встретилось еще и другое обстоятельство. Будущая невеста великого князя по отцу – принцесса Священной Римской империи, и этикет нашего двора требовал, чтобы отец ее испросил у императора разрешение выдать свою дочь за какую бы то ни было владетельную особу и получил бы на то от его величества надлежащее согласие. Следовательно, князь Меншиков исполнил только то, что обязательно для всех имперских князей.

При этих доводах дипломата Волконская утвердительно кивала головою, а Долгорукова внимательно прислушивалась к каждому его слову.

– Лично же мое участие в этом деле, – продолжал Рабутин, – ограничивается только тем, что я привез два письма от императора: одно великому князю, а другое – княжне Марии, с выражением пожелания со стороны его величества всяких благ будущей чете, и должен был вручить эти письма в то время, когда я признаю это удобным. Вы, конечно, поймете, княгиня, – обратился граф к Волконской, – что при том неотразимом влиянии, какое имеет князь Меншиков на царицу, он сумеет устроить дело так, что по вопросу о наследии престола она устранит своих дочерей, а корона перейдет к великому князю, так как прежде всего Меншиков пожелает видеть свою дочь русской царицей. . .

– Вот этого-то и не следует допускать, – гневно перебила Волконская, – тогда власть будет исключительно в руках Меншикова. Поэтому-то я и сказала вам, что вы содействовали еще большему его возвышению.

– Но что же оставалось делать? – пожимая плечами, спросил Рабутин. – Без пособия со стороны князя Меншикова корона перешла бы непременно к одной из дочерей императрицы Екатерины*, а устранение великого князя от престола идет вразрез видам венского кабинета.

При этом разъяснении, в качестве дипломата, Рабутин представлял выгоды и для России. Быть может, вследствие вступления на престол великого князя, император признает за новым

царем императорский титул, в котором венский двор отказывал его деду, а также отказывает и нынешней царице. Такое признание было бы чрезвычайно важной уступкой со стороны венского кабинета, потому что во всем мире может существовать один только христианский император, как представитель Священной империи...

– Которая, замечу кстати, и не существует на самом деле, – насмешливо возразила Волконская.

– Позволю себе заметить, что в данном случае действительность ничего не значит. Здесь важна идея, господствующая уже в продолжение девяти веков, – идея, что преемницею властвовавшей над всей вселенной Римской империи должна быть Германия.

– Вы, граф, время от времени посвящаете меня в политические вопросы, но, разумеется, не с русской, а с немецкой точки зрения. Впрочем, я достаточно свыклась с немцами, почти что выросла среди них, но это нисколько не мешает мне быть вполне русской женщиной, любить мое отечество и желать ему всех благ и, между прочим, желать, прежде всего, чтобы в нем не повторялось то прискорбное положение дел, какое представляется ныне, когда зазнавшийся временщик...

– Для устранения на будущее время подобных случаев и необходимо, чтобы у вас, в России, утвердился строгий порядок престолонаследия, и переход русской короны к великому князю Петру Алексеевичу, а затем и к будущему его потомству было бы первым к тому шагом. Не знаю, основательно ли это предположение, но, по крайней мере, мне кажется, что оно верно.

– Я от всей души желаю, чтоб великий князь был преемником ныне царствующей государыни, но под условием, чтобы будущий его тесть был устранен от влияния на государственные дела или – что было бы еще лучше – чтобы брак Петра Алексеевича с княжнью Меншиковой вовсе не состоялся.

– Вы говорите как нельзя более справедливо, – подхватила Долгорукова, которая не могла не питать злобы против Меншикова, по проискам которого пострадал ее отец при императоре Петре.

– Но такая пора, как я думаю, придет сама собою. Великий князь возмужает, воля его окрепнет, и он, оказывая должное уважение своему тестю, без всякого сомнения, не станет допускать его вмешательства в свои личные распоряжения. В нем уже и теперь, как говорят, обнаруживается твердая воля, и если он заметно подчиняется влиянию своей сестры, то это только из горячей любви к ней.

– О, что касается влияния великой княжны Натальи Алексеевны*, то оно не только ни для кого не может быть вредно, но, напротив, оно весьма желательно, – заметила Долгорукова.

– Да, эта девушка подает большие надежды. Она зреет умом не по летам; и какое у нее прекрасное сердце! Она и теперь внушает благоразумные и добрые советы своему брату, и он обыкновенно очень охотно подчиняется им, – сказала Волконская.

– Вот поэтому-то, княгиня, – заговорил, обращаясь к ней, Рабутин, – и было бы очень полезно, если бы великая княжна Наталья имела при себе умную руководительницу, которая утвердила бы над нею свою власть, разумеется, не давая ей этого чувствовать... Отчего бы, например, вам не постараться получить при ней место гофмейстерины?* – спросил Рабутин, пристально взглянув на Волконскую.

– Граф Рабутин высказал очень удачную мысль, – подхватила Долгорукова. – Великая княжна могла бы, находясь под вашим влиянием, добавить многое к тем врожденным качествам, которыми она теперь отличается. На получение вами должности гофмейстерины все, знающие вас близко, посмотрели бы не как на удовлетворение вашего честолюбия, но как на самопожертвование с вашей стороны. Теперь великая княжна, такая еще молоденькая девушка, не имеет около себя рассудительной и доброжелательной ей наставницы, которая так необходима в ее нежном возрасте.

– Скромность моя была бы неуместна в нашем небольшом кружке. Я действительно постаралась бы внушить великой княжне все хорошее, но дело в том, что при нынешней обстановке двора я не могу надеяться на успех, а бесполезная попытка, а тем более резкий и, пожалуй, даже неприличный отказ были бы для меня чрезвычайно тяжелым оскорблением. Я знаю, что светлейший князь будет против такого назначения, – заметила Волконская.

– Предоставьте мне, княгиня, озаботиться этим делом, насколько оно будет зависеть от Меншикова; вы в этом случае останетесь совершенно в стороне. Наш двор сумеет, при моем посредстве, внушить князю эту мысль, и тогда Меншиков не только с удовольствием согласится на это, но даже сам предложит вам должность гофмейстерины. Лично же вам нужно только убедиться в желании великой княжны, чтобы вы сделались близкой к ней особою. В свою очередь, конечно, и вы не откажетесь оказать нам ту или другую небольшую услугу, – любезно проговорил дипломат.

Он приостановился, и разговор на этом резко оборвался.

Волконская поднялась с места. Рабутин вскочил с кресел, поцеловал руку у хозяйки и у гостыи и, выйдя в прихожую, приостановился там, поджидая выходящую после него гостью.

– Я сегодня ожидаю депеш; по всей вероятности, в числе их вложено письмо вашего братца, и я не замедлю прислать его вам, – проговорил он шепотом княгине, сходящей с лестнице.

III

По прошествии нескольких дней после разговора с Рабутиным у Долгоруковой Волконская отправилась к великой княжне Наталье Алексеевне, бывшей в то время как бы в загоне. Нареченная ее бабушка, императрица Екатерина Алексеевна, с которой она жила вместе во дворце, оказывала ей родственное внимание лишь настолько, чтобы не возбудить между русскими и иностранцами говора о нелюбви ее к родной внучке своего покойного мужа. Великая княжна была предоставлена как бы себе самой и росла под главным надзором пожилой француженки, госпожи Каро, к которой она не чувствовала особой привязанности. С своей стороны, Каро не столько занималась развитием своей питомицы, сколько следила за теми, кто бывал у великой княжны, и хотя она плохо понимала по-русски, но тем не менее сообщала в качестве соглядательницы обо всем, что говорилось в комнатах Натальи Алексеевны. Для беседы Волконской с нею нужно было на некоторое время отвлечь воспитательницу, а потому Долгорукова условилась с Волконской, что придет навестить госпожу Каро в то время, когда Волконская будет у великой княжны, и тем даст своей сообщнице возможность побеседовать наедине с молодой девушкой.

С первого взгляда на эту девушку можно было заметить, что она в физическом отношении пошла в своего деда, а не в хилого своего отца. Она была высока ростом и развивалась не по летам. По уму и по способности она также выдалась в деда и отличалась рассудительностью, пытливостью и большою любознательностью. Своею же кроткою наружностью и ровностью характера она напоминала свою рано скончавшуюся мать. Томное выражение ее голубых глаз и светлые локоны как бы свидетельствовали об ее германском происхождении по матери. Несмотря на ее чрезвычайную доброту, обходительность и кротость, она, где это было нужно, оказывала твердость и решительность и во всех отношениях далеко опережала своего брата, который был моложе ее только годом и тремя месяцами.

Наталья Алексеевна встретила Волконскую самым приветливым образом и видимо обрадовалась ее неожиданному приезду. Ей хотелось, как говорится, отвести с кем-нибудь душу.

«Хотя ты еще очень молода и простодушна, как ребенок, но в тебе есть задатки, из которых можно сделать многое, нам очень пригодное», – мелькало в голове княгини Аграфены, или Агриппины, Петровны при взгляде на внучку Петра Великого.

Вошедшая княгиня сперва подобострастно поцеловала ручку великой княжны, а потом расцеловала ее как родную.

– Приехала я навестить ваше высочество и наведаться, не могу ли я чем служить особе вашей, – сказала княгиня.

– Спасибо тебе, княгинюшка, что вздумала проведать меня. Я всегда рада видеть тебя. Садись, пожалуйста.

И Наталья Алексеевна принялась усаживать гостью в кресло, а сама села около нее на придвинутую табуретку.

– Здорова ли ты, дорогая моя? Что подельваешь? Имеешь ли весточки от братца твоего, Алексея Петровича? Что он хорошего пишет? – расспрашивала Наталья Алексеевна.

– Поручил он вашему высочеству кланяться в ножки, – отвечала княгиня, приподнимаясь с кресел и как бы желая исполнить в точности поручение ее брата.

– Никак, ты и в самом деле хочешь кланяться мне в ноги! – рассмеявшись, вскрикнула Наталья Алексеевна. – А я так тебе и привстать с кресел не дам. – И с детской резвостью она положила свои руки на плечи княгини. – А ведь я сильнее тебя буду...

– Точно что будете куда сильнее меня, – уступчиво проговорила Аграфена Петровна. – Только вам и силы против меня употреблять не нужно. Скажите лишь слово, так я всякое ваше приказание исполню. Вот и теперь я сию не трогаюсь, а куда как хотелось бы мне поклониться

вам в ножки не только от братца, но и от себя самой, да вы запретили и мне, и другим это делать.

– Запретила это не я, а запретил это еще покойный мой дедушка. Ведь он объявил, что человек должен падать лицом на землю только перед Богом, что только Господу Богу достоин такое поклонение, – живо возразила молодая девушка и, охватив рукою шею своей гостью, громко и крепко поцеловала ее в щеку и затем быстро отскочила от Волконской на середину комнаты.

– А ведь и в самом деле я сильна, – заговорила она, быстро засучив рукава своей робы до самого локтя.

Она подняла над своею головою еще детские руки, сложила их в кулаки и начала трясти ими, как это часто делают подростки, чувствующие в себе прилив силы и как будто желающие испытать ее.

– В дедушку будешь, – сказала княгиня. – Ух, какой он был силач!.. Впрочем, скажу я тебе, мой светик, ты девушка не только сильная, но и умная, и от моих рабских похвал не возгордишься, а станешь внимательнее к себе самой. Скажу я также тебе, что Господь Бог одарил тебя не только телесной силой, но и вложил тебе много вот куда! – При этих словах княгиня слегка постучала себя пальцем по лбу. – Ведь ты у нас разумница, все о тебе так и говорят, и недаром Отец Небесный тебя так высоко поставил – ты русская царица, родная внучка такого великого государя, какого прежде во всем свете не бывало.

Наталья Алексеевна внимательно прислушивалась к словам своей собеседницы, говорившей с ней и льстиво-дружеским, и поучительным голосом, но вдруг нижняя губа ее судорожно задрожала, а на глаза набежали слезы.

– Какое в том счастье, что я царица! Лучше бы я родилась простой девушкой, да в такой семье, которая была бы счастливее нашей!

Голос ее прервался от сильного волнения, и она заслонила глаза рукой, желая скрыть брызнувшие из них слезы.

– Не грусти, моя голубушка, моя касаточка, – участливо заговорила княгиня, – Бог даст, все скоро переменится в твоей горемычной доле. Вот хоть бы, примером сказать, твои близкие сродственники по твоей настоящей, а не названной только бабушке – Лопухины, как много пострадали при твоём дедушке, а теперь опять входят в честь. Государыня изволила, по твоей милости, пожаловать Наталью Федоровну в статс-дамы, и тем ей оказана большая честь. Знаю, хорошо знаю, что тебе не сладко живется, моя горемычная сиротинка; растешь ты на чужих людях, и даже родная твоя бабушка, прежняя царица Авдотья Федоровна, как монашенка, сидит в заточении...

Наталья Алексеевна опустила в кресло и, склонив голову, слушала княгиню.

– А матушка моя? – как бы встрепенувшись, спросила она. – Разве мало натерпелась? А отец мой отчего умер? – И она задрожала всем телом. – Как ни таят от меня причину его смерти, но по многим речам я догадываюсь, как он скончался...

– Мало ли что в людях говорят, – успокоительно, но вместе с тем с оттенком двусмысленности сказала Волконская. – Пришел его последний час – вот и скончался. Ведь ты сама знаешь – в животе и смерти волен один Бог.

– Нет, нет, Аграфенушка, тут иное было дело. Ты должна знать все, но только ты, как и другие, таишь от меня правду. Но рано или поздно, а я все узнаю. Да и отчего царствует не мой брат, как следовало бы по старине, а Екатерина Алексеевна?

– На то была, знать, воля Божия. Придет когда-нибудь и его черед, если это ему суждено Господом, – внушающим покорность голосом говорила княгиня.

– Да и царствует ли еще она? Не правит ли ныне государством Меншиков, а она-то сама и указы подписать не может, а подписывает за нее Лизавета.

Раздражение молодой девушки усиливалось. Щеки ее горели ярким румянцем.

– Будь осторожнее, Наташа, – погрозив слегка пальцем, внушала ей княгиня. – За неистовые речи и ты, чего доброго, в монастырь на безысходное заточение попасть можешь...

– Как царевна Софья Алексеевна? – перебила с живостью великая княжна. – Так ведь та шла против своего брата, а я Петрушу так люблю, что отдала бы за него мою жизнь. Да и горюю-то я не о себе, а о нем. Чего доброго, изведут его лихие люди.

– Извести не изведут, а напротив, как женится на дочери «светлейшего», так попадет в милость к царице.

– Не ему искать милости через Меншикова, Петрушу следует избавить из-под его власти, – вспылила Наталья Алексеевна.

– Эх, золотая моя, – дружески заговорила Волконская, – нет около тебя никого, кто бы дал тебе добрый совет, а ты сама еще такая молоденькая, что многого в толк взять не можешь.

– Вот бы назначили тебя, княгинюшка, ко мне обер-гофмейстериной! Да ты, пожалуй, и не пошла бы на эту должность. Не захотела бы возиться со мною; ведь я по временам бываю такая супротивная и сердитая.

На лице княгини появилось выражение удовольствия.

– За счастье почла бы я это, ваше высочество, – проговорила почтительно она.

– Зачем ты говоришь мне «высочество»? Титул этот перевели с немецкого для моей матери; так звали ее потому, что она была германская принцесса, а я – русская великая княжна. Да и сколько раз я просила тебя, чтобы ты просто звала меня Наташей. Знаешь ли, что, кроме брата, никто так ласково не зовет меня, точно я всем чужая и словно со мной никто от сердца говорить не хочет. Ах, впрочем, нет, что ж я забыла: зовут меня так и Катерина Алексеевна, и ее дочери, – насмешливо добавила она. – Да от сердца ли?

Волконская не дала Наталье Алексеевне закончить того, что она хотела сказать. Она взяла ее за обе руки и потянула к себе, а молодая девушка, приблизившись к ней, положила свою головку на ее плечо.

– Ну хорошо, пусть будет по-твоему: Наташа, Натальюшка, – говорила Волконская, ласково глядя ее по голове, а она все крепче прижималась к своей собеседнице, радуясь, что хоть кто-нибудь приголубил ее так сердечно.

IV

В то время, когда в Петербурге возбуждался вопрос о наследии русского престола, в Вене шла речь о том же самом по отношению к австрийским владениям; но причины, возбуждавшие здесь и там эти вопросы, были не только различны, но даже и противоположны одна другой. У нас при этом возникало затруднение ввиду нескольких лиц, которые по разным основаниям считали себя вправе получить русскую корону. В Вене же, наоборот, оказывался недостаток в лицах, имевших право на Австрийское наследство. Римско-немецкого императора Карла VI Господь Бог не избыточно благословил потомством, да, вдобавок к тому, лишил его мужского поколения, так что он оказывался последним из Габсбургов по мужскому колену, наследственные права которого не могли бы подлежать никакому сомнению и спору. Была у него единственная лишь дочь Мария-Терезия*. Не только родительская любовь, но и чувство династического тщеславия побуждали последнего представителя Габсбургского дома призадумываться над тем, что станет после его смерти и с его дочерью-отроковицею, и с его обширным державным имуществом, которое без перерыва в течение многих веков переходило от одного поколения Габсбургов к другому в неприкосновенной целостности и которое после смерти Карла должно былоделиться между несколькими наследниками. Карл видел, что вследствие такого раздела померкнет слава и блеск Габсбургского дома, который в течение многих веков передавал так удачно свое политическое могущество из рода в род. Были у Карла еще две родные племянницы: одна за курфюрстом* Баварским, другая за курфюрстом Саксонским, а вместе с тем и королем польским, и Карлу VI не безосновательно казалось, что эти две курфюрстины обидят его возлюбленную дочь. Такой прискорбный исход дела нужно было предупредить, обеспечив заранее судьбу подраставшей Марии-Терезии. Передача ей избирательным порядком римско-немецкого императорского достоинства, к которому уже издавна привыкли предки Карла и считали его как бы наследственным в своем роде, оказывалась невозможной, как особе женского пола. Поэтому родитель Марии-Терезии начал думать о том, как бы утвердить за нею хоть родовые свои владения, а владения эти были весьма значительны: Австрия, Венгрия, Богемия, Тироль, Штирия, Каринтия и прочие признавали над собою наследственную власть Габсбургов. Могла Мария-Терезия именоваться по этим владениям и королевою, и эрцгерцогинею, и герцогинею, и маркграфинею, и княжною, и графинею, присоединив к такому разнообразному титулу еще наследственный титул королевы иерусалимской. Но все это нужно было уладить заранее, и уладить так, чтобы по кончине Карла VI никто не дерзнул бы оспаривать у его дочери ни ее владений, ни ее титулов.

Такие мысли об устройстве будущей участи римско-немецкой цесаревны, с прибавлением высказываемых тоскливым голосом сетований на свою собственную судьбу, нередко передавал Карл VI своим близким советникам. Из них каждый, по мере своей находчивости, старался успокаивать своего повелителя и придумывал разного рода утешения, и мирские, и религиозные, для ослабления его державной скорби и родительских тревог. При этих утешениях кесарь* становился веселее и, казалось, совершенно спокойно переходил к разговорам об изящных искусствах, до которых он, к чести его, был страстный охотник. Заботливым же царедворцам только и нужно было, чтоб так или иначе ослабить хоть несколько настоящую его кручину. Нашелся, однако, среди них правдивый и вместе с тем чрезвычайно ловкий человек, некто граф Тун фон Гогенштейн.

– Приемлю смелость всеподданнейше доложить вашему величеству, – заговорил он однажды пред императором с большою запинкою свою, хотя уже и заранее подготовленную и вытверженную, речь. – Осмелюсь доложить, что родительские попечения ваши о высокоурожденной дочери вашей и заботы ваши о благе вверенных вам Провидением народов не столь легко осуществимы, как сие представляется с первого взгляда. Простите, всемилостивейший

государь, смелость моей речи, но я, по внутреннему убеждению, счел долгом повергнуть по этому предмету мои мысли на ваше высочайшее благоусмотрение...

– Я что-то вас не совсем понимаю, любезный граф, – не без некоторого удивления отозвался император. – Потрудитесь выразаться яснее, с полной откровенностью. Вы, вероятно, желаете сообщить мне что-нибудь чрезвычайно важное, и я готов выслушать вас.

– Долгое время я не решался утруждать ваше величество изложением моего взгляда на вопрос престолонаследия: тяжело не только затронуть его, но и подумать о нем каждому из наших верноподданных, и вы, вероятно, изволили заметить, что в бывшем по этому делу заседании совета я безмолвствовал. Но теперь, когда решено приступить к осуществлению высказанных в совете предположений, молчание мое не соответствовало бы той преданности, какую я питаю и к вашей особе, и к возлюбленной всеми юной эрцгерцогине. Я не могу умолчать в настоящее время о тех затруднениях и о тех опасениях, какие неизбежно встретятся при этом...

– Какие же тут могут быть затруднения? – взволнованным голосом спросил Карл. – Ведь государственные члены и Венгрии, и Богемии, и всех вообще наследственных наших областей, без всякого сомнения, согласятся признать над собою верховную власть моей дочери и ее потомства, если Господь благословит ее чадородием. – При этих словах император тяжело вздохнул. – Меня в этом все уверяли, и все уверяют и теперь. – Мало того, и венгерские магнаты, и богемские вельможи изъявляют полную готовность поддержать мои намерения относительно престолонаследия после моей смерти.

– О, государь, не может быть ни малейшего сомнения, что и Венгрия, и Богемия, и все коренные земли вашей монархии с радостью останутся под управлением прославленного вашего дома, хотя бы, по воле судеб, и явилась представителем его особа женского пола. При этом во всех этих королевствах и областях нет даже такого устава, который устранял бы женский пол от престолонаследия. В этом отношении ваше величество можете быть совершенно спокойны. Тем не менее советники ваши, всегда столь мудрые и прозорливые, упустили в данном случае одно чрезвычайно важное обстоятельство...

– Какое именно? Садитесь, граф, и объясните мне, в чем же заключается их недосмотр.

– Иностранные дворы, ввиду могущих быть замешательств, воспользуются ими, чтобы ослабить могущество и значение Австрии. Они станут отрицать, под разными предлогами, права эрцгерцогини на наследственные земли и примутся помогать тем, кто объявит свои притязания на наследие, по пресечении мужской линии высочайшего Габсбургского дома.

– Искренно благодарю вас, любезнейший граф, за ваше указание. Вы обратили внимание на такую сторону дела, которая ускользнула как-то от других. Теперь действительно вся Европа ищет разных политических усложнений. Каждый кабинет хочет вредить другому и с этою целью прибегает к разным средствам, не обходя даже самых неблагоприятных. Еще раз благодарю вас и прошу вашего совета насчет того, как бы устроить дело таким образом, чтобы устранить все могущие встретиться в будущем запутанности и усложнения и предупредить предусматриваемую вами опасность.

– По моему мнению, – начал Тун, – необходимо прежде всего заручиться таким актом, подписанным первенствующими европейскими дворами, который обеспечивал бы нераздельность владений вашего царствующего дома при переходе их к эрцгерцогине. Да продлит Всевышние драгоценные дни ваши, всемилостивейший государь! – с чувством, возведя глаза вверх, сказал Тун. – Но все же государственная мудрость требует предвидеть заранее то положение, в каком может оказаться каждое государство при совершившейся в нем коренной перемене...

– Замечание ваше совершенно верно. Я давно чувствовал необходимость в такой задушевной беседе, какую я веду теперь с вами. Но к каким же дворам должен я обратиться с предложением такого рода? На курфюрстов вообще полагаться нельзя: у каждого из них свои

личные виды, а двое в числе их, именно курфюрсты Баварский и Саксонский, – как доходят до меня слухи, – не только не желают поддерживать моих намерений, но еще думают, в случае моей смерти, воспользоваться частью так называемого ими Австрийского наследства. Кроме того, и король прусский, роясь в архивах, отыскивает какие-то права Бранденбург-Гогенцоллернского дома* на Силезию, так что монархии моей грозит раздел.

– Надобно будет обратиться к Франции, Англии, Испании, Неаполю, Швеции, Дании, – бойко стал высчитывать Тун. – Я перечислил, государь, все значительные дворы, поддержка которых оказывается необходимою.

– И не пропустили ни одного? – пытливо спросил император.

– Ни одного, ваше величество, – твердо проговорил граф.

На лице Карла появилось выражение удовольствия.

– А русский двор? О России-то вы, мой друг, и забыли. Вот хорошо! – И кесарь самодовольно расхохотался. – Вы теперь, любезный граф, напомнили мне испанцев, которые, не так давно отправляясь на войну против Португалии, запаслись всем и только забыли взять с собою порох.

Император продолжал смеяться, и ему весело вторил его собеседник.

Граф Тун хорошо знал то важное значение, какое в настоящем случае должна была иметь Россия, но, как сметливый придворный, он нарочно прикинулся недогадливым, чтоб доставить над собою торжество своему царственному собеседнику. После того как он решился указать императору на его недогадливость вообще, ему казалось необходимым наверстать эту смелость какой-нибудь оплошностью с своей стороны, и такой ловкий прием удался ему как нельзя более.

– Ваше величество изволили очень метко заметить насчет моей недогадливости. В самом деле, я забыл о России, тогда как она должна была бы быть упомянута едва ли не прежде всех других европейских держав. Вы изволили быть ко мне слишком снисходительны, только сравнив меня с испанцами, позабывшими главный воинский снаряд – порох. Я просто-напросто заслуживаю названия бестолкового и беспамятного человека, а еще осмеливаюсь являться к вам с советами о политической предусмотрительности. «Хорош советник: забыл о России?» – трунил над самим собою граф, видя, что его притворная оплошность доставляла Карлу большее удовольствие.

– А знаете, граф, – сказал император, принимая величавый вид, – ведь та мысль, которую вы мне теперь высказали, еще и прежде как будто бродила у меня в голове. Мне самому казалось, что как будто чего-то недостает для полноты и законченности моего плана.

– Мало того, я откровенно должен сознаться, что некоторым образом я даже похитил вашу мысль. Вы однажды изволили сделать намек на возможность того положения дел, на которое я теперь позволил себе указать вашему величеству. Вы были, – если так можно выразиться, – моим вдохновителем.

Карл, по-видимому, силился что-то припомнить.

– Так, действительно так, теперь я вспоминаю. Точно, я говорил об этом. Какая у вас прекрасная память, граф. Но у меня столько забот и занятий, что голова идет кругом. – И он потер рукою лоб. – Во всяком случае, разговор наш должен остаться только между нами.

– Без всякого сомнения, государь.

– Теперь я хочу посоветоваться с вами далее по этому же делу. Кого назначить мне в Петербург для ведения переговоров?

– Позвольте несколько сообразить, ваше величество. – И Тун сделал вид, будто он погрузился в глубокомысленные соображения. – Я полагаю, что граф Рабутин мог бы быть очень пригоден для исполнения подобного поручения. Он умен, ловок и сумеет сойтись близко с теми лицами, которые в Петербурге будут нам нужны.

– И преимущественно с дамами, – улыбнувшись, заметил император. – О, иногда они бывают очень нужны для ведения при их участии дипломатических дел. Жаль только, что господин Рабутин не соответствует важности того двора, к которому он будет отправлен. Он для этого еще молод и не занимал пока никакого высокого поста, а в Петербурге теперь стали очень щекотливы в отношении оценки иностранных представителей.

– Но, ваше величество, – заговорил Тун, – ему и незачем будет придавать знатного характера. Предлог же для посылки в Петербург именно не особенно знатной особы представляется очень удобным...

– Ах, да! С ним можно отправить письма, в которых я выражаю мое согласие на брак великого князя Петра с принцессою Меншиковою. Вот и прекрасно! Он обо всем поразведает там, а после того, смотря по ходу дел, можно будет заменить его другим, более важным лицом.

– Которому вы, ваше величество, и соизволите поручить постараться о том, чтобы русский престол, по кончине ныне царствующей государыни, перешел к великому князю.

Император встрепенулся и закусил слишком заметно выдавшуюся вперед нижнюю губу, этот наследственный признак всех членов Габсбургского дома. Видно было, что высказанная графом Туном мысль как будто поразила его новизною, но он не хотел обнаружить своего ощущения.

– Об этом я подумаю, время еще будет, – закончил он разговор, начатый его собеседником. – А графа Рабутина я приму завтра в восемь часов утра в особой аудиенции. Сообщите ему об этом.

На эти слова Тун ответил императору почтительным поклоном.

Тун, чрезвычайно довольный исходом свидания с его величеством, быстро сходил с парадной лестницы Гофбурга и, выбравшись в своей карете из укреплений, окружавших в ту пору императорскую резиденцию в Вене, приказал кучеру ехать к баронессе Целлер.

V

С торжествующим видом вошел Тун к своей старинной знакомой, не раз содействовавшей разным его замыслам посредством своей близости к императрице, супруге Карла VI.

– Вижу, что все устроилось удачно, – торопливо заговорила вертлявая и не слишком красивая дама, встречая приветливо приехавшего к ней гостя. – По вашему лицу сейчас заметно, что в Гофбурге удалось вам все как нельзя лучше...

– Вы угадали, мой высокоуважаемый друг, моя чудная Эгерия*, – сказал Тун, приятельски целуя протянутую ему руку баронессы. – Рабутин на днях будет отправлен в Петербург.

Целлер ласково потрепала по плечу Туна.

– Сегодня в три часа приедет ко мне известная вам особа справиться, чем мы покончили дело относительно ее обожателя. Значит, ее можно будет порадовать приятною вестью? – спросила баронесса.

– Можно, но, разумеется, под условием строгой тайны. Хотя император и выразил уже свое согласие, но он может переменить свой взгляд на это дело, – слегка отдуваясь, проговорил Тун. – А если бы вы знали, мой друг, с каким ужасным трудом мне удалось добиться этого! Можно сказать, что каждому моему слову император противопоставил десятки, куда десятки – сотни возражений, и представьте мое тягостное и щекотливое положение, когда я должен был опровергать их.

– Расскажите же все как было, – сказала Целлер Туну, который держал в своей руке ее руку и по временам целовал ее. – Вы, конечно, повели дело так, как я вам говорила?

– Мог ли я, дорогая Клара, нарушить ваши инструкции, в основании которых лежит всегда так много ума и проницательности... Но все-таки борьба была сильная. Мне пришлось затронуть самолюбие императора, который, при всех его добрых качествах, все-таки человек чрезвычайно тщеславный, так что я находился в крайне неловком положении во время моей с ним аудиенции.

– Бедненький! – сказала участливо баронесса. – Но за ваши труды я, бесценный мой сотрудник, надеюсь в скором времени порадовать вас известием о пожаловании вам Клозенбурга, который вам так давно хочется получить.

Тун встал с кресел и низко поклонился своей покровительнице.

– Благодарю вас еще раз, – сказала она. – А теперь отправляйтесь, мой друг, домой и отдохните после ваших хлопот, – шутливо добавила Целлер, дружески выпроваживая Туна. – Сейчас ко мне придет кое-кто, и мне нежелательно, чтоб они встретились сегодня с вами в моем доме. Относительно этого у меня есть свои особые, весьма важные соображения.

– Нехотя повинуюсь вам, но что делать! – сказал Тун, раскланиваясь с хозяйкой.

Спустя немного времени в гостиную баронессы медленно вошла чопорно-изящная старушка, одна из родственниц и усердных покровительниц Рабутина. Она с большим удовольствием услышала весть о назначении его чрезвычайным посланником в Петербург, переданную ей, разумеется, под условием сохранения самой строгой тайны.

– Без всякого сомнения, вы теперь, в свою очередь, постараетесь о предоставлении Клозенбурга графу Туну. Право, он этого стоит. Пускай император пожалует ему это имение на первый раз на ленном праве*. Ведь это ближайшим и главным образом зависит от вашего супруга. Пусть при случае, но только как можно скорее, он напомним императору, что это имение теперь свободно. Повторяю еще раз, что граф Тун стоит такой награды.

– Непременно, непременно исполню ваше желание, – бормотала гостя, рассыпаясь в благодарности при прощании с Целлер.

Но если приезд покровительницы Рабутина представлял для баронессы известную важность, то приезд другой ожидаемой ею гостьи заставил ее улыбаться. Здесь шел совсем иной вопрос, так как здесь дело велось по сердечной части.

Ожидаемая гостья тоже не замедлила явиться к баронессе, в виде молоденькой и хорошенькой особы, от которой как будто веяло и непостоянством, и женскою шаловливостью.

– Ну что, – спросила она, вприхнув в гостиную и не поздоровавшись даже с хозяйкой, – спровадили моего дружка, и далеко?..

– Далек, в Петербург, – отвечала весело баронесса, махнув перед собой рукой в знак далекого пути.

– Вот и прекрасно! – воскликнула радостно молодая дамочка и бросилась целовать баронессу. – Вы оказали мне самую дружескую услугу. Да и он долго горевать не будет. Ах, если бы вы знали, какой он влюбчивый и какой он ветренный... Боже мой, что это за человек!..

– Тогда как вы, с вашей стороны, милая моя Луиза, платили ему таким постоянством, – улыбнувшись, заметила баронесса. – И поделом ему, изменнику. Хорошо бы сделали русские, если бы они запрятали его подальше, в Сибирь. Так?.. Вы согласны с этим?

– Что вы, что вы, баронесса! Нет, этого не надобно, это будет уж слишком жестоко, – надув губки, проговорила гостья. – Кто знает, быть может, я скоро пожелаю, чтоб он вернулся назад в Вену. Ведь это делается, собственно, только в виде опыта, а отчасти и в виде легкого наказания за его ветренность. Представьте, я недели три тому назад достоверно узнала, что он очень неравнодушен к певице Баттони. Она действительно очень миленькое создание, да мне-то какое до этого дело! Для меня это все равно! Так пусть он на время уедет из Вены, а я покажу ему, что я могу обойтись и без него...

«Какой сегодня вышел удачный день», – думала баронесса по отъезде молодой вдовушки, припоминая радость чопорной старушки при вести о назначении Рабутина на важный дипломатический пост и об удовольствии вдовушки по поводу его отъезда в Петербург. Она знала, что уже другой, красавец венгерец, владел сердцем ветреной дамочки и что этой последней хотелось поскорее сбыть куда-нибудь подальше прискучившего уже ей обожателя, чтобы на время его отсутствия из Вены воспользоваться полною свободой, не входя с ним ни в какие объяснения и притворяясь, что она огорчена его внезапным отсутствием.

Что же касается Рабутина, то и он, в свою очередь, не слишком горевал о предстоящей разлуке. Он был такой же ветреник, как его родной дедушка, граф Рабютен-Бюсси, некогда довольно известный французский писатель, натерпевшийся немало горя и из-за женщины, и из-за литературы. Одна маркиза, которой он изменил, жестоко отомстила ему, насплетничав при дворе Людовика XIV*, что появившаяся в Париже книжка под заглавием «Histoire amoureuse des Gaules», в которой повествовались не воинские и царственные подвиги королей французских, а только их любовные похождения, сочинена была Рабютемом. Расправа с мнимым автором этой книжки со стороны Людовика XIV была очень коротка по самому ее исполнению, но зато очень продолжительна по ее последствию. Его без суда и допроса запрятали в Бастилию. Там безвыходно просидел он семнадцать лет, до тех пор, пока в часы одиночества надумал чересчур льстивую историю Людовика XIV, конечно, без малейшего упоминания об его амурных похождениях, а, напротив, выставляя его образцом степенности и скромности. За эту книгу, и прежде ни в чем не повинный, Рабютен получил всемиловитвейшее прощение. Ему даже дозволено было показаться при дворе, но там он был принят чрезвычайно холодно, и фамилия графов Рабютен, стоявшая некогда в ряду первых французских царедворцев, потеряла свое прежнее, весьма заметное положение. Огорченный этим сын узника-писателя переехал из Франции в Австрию, где фамилию его «Rabutin» стали произносить по немецкому чтению – Рабути́н, и сын его стал известен в наших дипломатических сношениях с венским кабинетом, а, пожалуй, отчасти и в нашей истории прошлого столетия под фамилией «Рабути́н», а не «Рабюте́н».

Быть может, несчастья, изведенные дедушкой Рабутина при версальском дворе, отбили у него охоту от сочинительства – так как он не писал никаких сочинений, занимаясь только составлением любовных писем и дипломатических сообщений, – но не отвели его от волокитства. Уезжая в Петербург, австрийский дипломат главным образом основывал, пока только еще в воображении, свои успехи на сердечных отношениях к представительницам прекрасного пола. Для этого было у него немало задатков. Он был в цвете лет, красив собою, ловок, богат, смел и вкрадчив, так что имел все необходимые качества для успеха в большом свете. Унаследованные им от предков любезность и изящество тогдашнего французского дворянина соединялись в нем, в случае надобности, с последовательностью и устойчивостью немца. Короче сказать, Карл VI, благодаря указанию Туна, не мог бы из среды блестящей венской аристократии выбрать никого другого, кто бы так хорошо, как граф Рабутин, подходил для исполнения данного ему поручения.

При венском дворе лучше, чем где-нибудь, знали обо всем, что делалось тогда в Петербурге. Не только агенты Австрии, являвшиеся туда в разных видах, внимательно и зорко следили за всем, что там происходило, но и сами русские служили передатчиками пригодных для Австрии сведений из России, и в числе таких лиц был русский министр-резидент в Копенгагене Алексей Петрович Бестужев-Рюмин, находившийся в самых близких отношениях к венскому кабинету. Хотя он давно уже не жил в России, но знал всю подноготную, благодаря сестре своей, княгине Аграфене Петровне Волконской. Полученные им от нее сведения он передавал по принадлежности в Вену, и таким образом ехавшему в Петербург Рабутину были уже достаточно подготовлены средства для его дипломатической деятельности в новой русской столице. Немало было у него разных нитей, которые с успехом могла приводить в движение его смелая рука, и Рабутин был на это не промах.

В Петербурге его встретили с почетом, как цесарского посла, и радушно, как умного и любезного человека, который умел с первого же раза понравиться каждому и в особенности каждой. Преимущество хитрости австрийской дипломатии и неразборчивость со стороны ее в выборе тех средств, которыми можно было воспользоваться для получения выгод венским кабинетом, в значительной степени облегчали Рабутину предстоявшую ему дипломатическую деятельность при русском дворе. Венский кабинет не жалел денежных средств на подкупы, на пенсии и на награды в тех случаях, где такие средства, смотря по обстоятельствам и лицам, оказывались нужными, и такое употребление денег было чрезвычайно важным условием для осуществления разных политических планов. Из напечатанной ныне переписки иностранных дипломатических агентов, находившихся в Петербурге в первой половине прошлого столетия, оказывается, что не только второстепенные служилые лица, но и «знатные обою пола персоны» из русских были на жалованье у разных иностранных дворов. Дело доходило до того, что после смерти Петра Великого даже обладатель такого несметного богатства, как князь Меншиков, состоял на жалованье шведского кабинета, сообщая ему обо всем, что предпринималось в Петербурге по части внешней политики.

При жизни Петра I Австрия старалась, а отчасти и успевала, влиять на политику России через императрицу Екатерину, а для воздействия был избран известный Монс*, но когда голова этого очаровательного кавалера отлетела на плахе, то венский кабинет, как полезный для себя рычаг, наметил любимую камер-юнгферу* императрицы госпожу Крамер. На нее было указано и графу Рабутину при отъезде его из Вены. Подобные указания были бы, собственно, для него совершенно излишни, так как он сам по себе легко мог отыскать все пути и лазейки, тем более что в Петербурге он при посредстве Алексея Петровича Бестужева должен был на первых же порах близко сойтись с такою умною, хитрою и ловкою женщиной, какою была сестра Бестужева, княгиня Аграфена Петровна Волконская.

Немного нужно было Рабутину времени, чтобы приобрести себе внимание со стороны других петербургских дам и начать учить их плетенью придворных кружев по его узорам.

VI

Ко времени приезда Рабутина в Петербург этот только что начинавший обстраиваться город представлял странное зрелище для приехавшего туда с запада иностранца, привыкшего к иному складу городской жизни вообще, и в частности – к иной обстановке столиц хотя бы и самых значительных европейских государств. Там, в таких государствах, выстроены были более или менее обширные и роскошные замки и дворцы местных владетелей, то в готическом, то в итальянском вкусе; там возвышались храмы – произведения средневекового зодчества. Города эти были перерезаны тесными, извилистыми улицами, с узкими, в несколько этажей каменными домами, плотно жавшимися друг к другу. В западноевропейских городах все жили плотно друг с другом, не раскидываясь на широком пространстве, а такое сожителство служило как бы выражением тогдашнего корпоративного быта западных городов. В новой же русской столице, которая, с точки зрения ее основателя, должна была сделаться средоточием нашей морской торговли и в которой, за неимением еще нами доступа к водам Черного моря, должен был создаться наш военный флот – все пока носило отпечаток новизны, вовсе не изысканной. Все жили еще вразброс, как бы отдельными слободами и посадами, и в этом последнем отношении Петербург как нельзя более напоминал покинутую царем Москву, от которой, в противоположность новой столице, веяло стариною.

Главной местностью Петербурга мог в ту пору считаться Васильевский остров, на котором выстроены были Сенат и высшие правительственные учреждения – коллегии. Здесь же сосредоточивалась на житье самая деятельная в торговом отношении и любимая государем часть петербургского населения – голландцы, а также англичане и вообще иностранцы под общим у русских названием «немцев». Петербургская сторона с построенною на одном из ее берегов гранитною крепостью*, напоминавшею о близости только недавно укрощенного врага, была занята разными воинскими командами. На правом берегу Невы*, противоположном Васильевскому острову, а также и Петербургской стороне, размещались придворный и служилый люд, а также и прибывающие в Петербург новые поселенцы из русских. Здесь были как бы особые части города, занятые солдатами, артиллеристами-канонирами, подьячими, мещанами, плотниками и разными ремесленниками. Город был еще небольшой и куда как бедно построенный и, разумеется, без всяких следов не только древности, но даже и старины. Значительное пространство в тогдашней его черте оставалось еще пустым и было покрыто лесом с болотами и топиями, и в нем проводили длинные просеки, или перспективы. Росший же прежде по обоим берегам Невы густой лес был уже вырублен, и Нева, еще не обделанная в гранит, прельщала иностранцев своим величественным течением.

На одном из ее берегов, среди зелени, виднелось двухэтажное длинное здание* с широким, утвержденным на каменных столбах балконом, с большим дугообразным фронтоном, над которым возвышался невысокий купол или башенка, обложенная позолоченной жостью. Перед этим домом, едва ли не самым лучшим во всем тогдашнем Петербурге, у самого спуска с берега Невы стоял большой десятивесельный, богато убранный катер с бархатным над ним балдахинном, увенчанным огромною золотою княжескою короною. Когда этот катер проезжал через Неву, то все плывшие по реке и большие, и малые суда сдерживали свой ход, боясь своим приближением потревожить бег великолепного катера. Стоявшие на берегу люди внимательно следили за ходом катера и при его приближении почтительно снимали шапки. Такой почет оказывался владельцу этого катера, сильнейшему в то время в России вельможе, светлейшему князю Александру Даниловичу Меншикову, герцогу Ижорскому. Все знали, что царствовавшая в то время императрица Екатерина подчинялась во всем безусловно его воле и что он мог делать все, что ему было угодно. В городе ходили настойчивые слухи, что князь сделается вскоре еще могущественнее, так как старшая дочь его выйдет замуж за великого князя Петра

Алексеевича, который, по смерти императрицы, может наследовать престол, и таким образом князь делается тестем государя, который, как незрелый и неопытный юноша, будет следовать во всем внушениям и советам своего тестя.

Князь и теперь уже жил среди такой пышной и роскошной обстановки, перед которой обстановка царя Петра казалась не только скромностью, но и просто убожеством. Всего, что могла доставить тогда Европа для поддержания роскоши, пышности и великолепия, было у него вдоволь. Редкие заморские растения и цветы наполняли его теплицы; зеркала, позолота, гобелены, мрамор, дорогие ткани, бронза украшали его чертоги. Окруженный богатством и почестями, он, однако, впадал иногда в глубокое раздумье, как бы предчувствуя непрочность своего высокого, исключительного положения, но раздумье это было обыкновенно весьма непродолжительно, так как на помощь ему тотчас приходили и бодрость, и самоуверенность, и решимость беспощадно расправляться со своими недоброжелателями и, уничтожив всех своих явных врагов, добраться, так или иначе, и до тайных недругов.

«И не в таких переделках бывал я еще при царе Петре, – думал порою он, – да всегда дело кончалось во вред моим противникам, а теперь мне с ними рассчитываться гораздо легче, нежели в прежнее время».

Раздумывая об этом, Меншиков невольно припоминал протекшую свою жизнь, с той поры, когда он, ничтожным Алексашкой, начал свое поприще нравственным позором и рубкою в Москве стрельцких голов на плахе. Многие из бывшего быстро мелькало в его мыслях: и поля битв, на которых он отличался доблестью, и шумные пиры; посреди этих воспоминаний являлся чаще всего облик молоденькой лифляндской пленницы, взятой им в свой дом у фельдмаршала Шереметева и сделавшейся теперь повелительницею России; припоминалась ему и ходившая по его спине дубинка грозного царя, так часто миловавшего своего любимца за то, за что другие виновные получали страшное возмездие. Невольно он видел в своей жизни какое-то особенное предназначение и верил в свое счастье, которое должно было охранять его, как баловня судьбы, от всяких наступавших на него несчастий. Промелькнул перед ним и призрак царевича Алексея*, но не смутился в своей совести Меншиков, считая себя невиновным в его гибели.

«Я тут был ни при чем. Пусть укоряют меня, как хотят, но совесть моя в этом деле спокойна», – думал он при этом воспоминании.

Однажды, во время такого раздумья, домоуправитель князя, или, как называли его, «маршалок», осторожным шагом вошел в кабинет князя-герцога.

– Что тебе нужно? – отрывисто спросил он своего ближайшего наперсника.

– Пришел доложить вашей светлости, что его королевское высочество прибыть к вам не может. Изволили отозваться нездоровьем, – добавил маршалок.

Взволнованный этим докладом, Меншиков быстро приподнялся с кресел и заходил большими шагами по комнате, в то время как его служитель, прижавшись к стене, стоял неподвижно в ожидании распоряжений своего господина.

– Да он мне вовсе и не нужен, – презрительно сказал Меншиков, скрывая свою досаду. «Я потребовал его к себе, – подумал князь, – для того только, чтоб убедиться в его покорности, так как замечаю, что он все выше и выше задирает нос, надеясь на свою тещу и на заступничество своей жены; но с ним я сумею поступить так, как он вовсе не ожидал». – Ступай и позови ко мне сейчас Андрея Яковлевича*, – сказал он сурово, обращаясь к маршалку, отвесившему ему в ответ на эти слова раболепный поклон и кинувшемуся опростетью, чтоб исполнить приказание князя.

Меншиков, сильно волнуясь, продолжал ходить по комнате, когда к нему явился потребованный им его секретарь Яковлев.

– Садись и напиши сейчас указ Верховному совету о прекращении герцогу Голштинскому пожалованных ему с острова Эзеля доходов; вот перо, а вот и бумага, – сказал Меншиков, повелительно указывая секретарю рукою на стол. – Садись на мое место и пиши.

Секретарю, привыкшему только стоять неподвижно перед князем, было не только неловко, но и как-то боязно усесться за стол, да притом еще и на великолепное кресло князя, и он мялся на месте.

– Слышал, что я тебе приказал? Садись и пиши.

Секретарь повиновался, и перо закрипело под его дрожащую рукою.

Меншиков подошел к столу, оперся на него одною рукою и продиктовал, что следовало написать. Указ был краток и изложен не совсем складно. В нем не приводилось никаких причин и никаких поводов к тому распоряжению, которое в нем прописывалось и которое так неожиданно направлено было против зятя государыни. Меншиков приказал секретарю прочесть вслух написанное.

– Так будет ладно. Чего тут вступать в объяснения с этим немцем, да и не поймет он толком их. Живет в России лет пять и еще слова не научился по-русски, а между тем хочет вмешиваться и требует себе царских почестей. Как же!.. Так вот я сейчас и уступлю ему первенство... Теперь опомнится. А то и совсем его выпровожу отсюда, подобру-поздорову, – бормотал про себя князь. – Теперь ступай отсюда и вели сейчас же запрячь парадную карету, а сам вернись ко мне, – сказал он Яковлеву.

Секретарь исполнил данное ему приказание и снова явился к князю.

Заметно было, что князь, несмотря на все его желание казаться спокойным, был сильно встревожен решительною мерою, предпринятою им против герцога. Он понимал очень хорошо, что вступает в решительную борьбу с своим главным противником. Правда, герцог сам по себе, как личность вовсе незначительная, не мог быть опасен умному и смелому временщику. Герцога не только не любили все русские, но просто даже ненавидели за его высокомерие. Но поддержка у него для борьбы с Меншиковым, казалось, найдется весьма сильная. Супруга его, цесаревна Анна Петровна, была не только любимую дочерью императрицы, но и все русские были расположены к ней за ее доброту и обходительность, как бы составлявшие противоположность отталкивавшим свойствам ее мужа, который, вдобавок к своим недостаткам, любил еще и выпить. Петр Великий оказывал ему полное пренебрежение и не соглашался выдать Анну за герцога, так что брак его с нею мог состояться только после кончины государя.

– А что толкуют в городе? – спросил князь возвратившегося в кабинет секретаря. – Чай, крепко меня оговаривают?

– Да разве можно оговаривать в чем-нибудь особу, столь непричастную никакому злу, каковую изволите быть ваша светлость? – поспешил ответить секретарь.

– Вы все передо мною лицемерите, – презрительно перебил князь льстеца. – И ты сам Бог весть что обо мне за глаза говоришь в угоду моим хулителям...

– Сохрани меня и помилуй, Господи! – вскрикнул, открещиваясь, испуганный секретарь. – Всем и каждому прославляю я истинные и великие добродетели вашей светлости, да и могу ли что-нибудь дурное помыслить о персоне вашей? Что я такое? – ничтожный червь перед величием вашим.

– Вишь ведь, как красно научился говорить в Заиконоспасской академии*, – шутиливо-ласковым голосом сказал князь. – Не хуже нашего Феофана*. Ну, а об Аграфене что слышал?

– Слышал я, что она при ее высочестве великой княжне Наталии Алексеевне хочет состоять гофмейстериней, – как будто спроста проговорил секретарь, подученный заранее противниками княгини Волконской сказать о ней князю при удобном случае неприятное ему слово.

Меншиков побагровел от гнева.

– Вот я устрою ее сам! Знаю я, что она исподтишка делает. Выпроводить ее отсюда следовало бы, да с нею заодно и многих ее приятелей. Баба она, правда, умная, да уж больно прытка: целым царством править бы хотела. Ну, а Наталья Лопухина?

Меншиков ожидал ответа, вспоминая о том, как эта красавица сблизилась с Рейнгольдом Левенвольдом в то время, когда Левенвольд был в особой милости у государыни, старалась действовать через него на Екатерину, хотя и не прямо во вред ему, Меншикову, но нередко против его личного желания.

Спрошенный не знал, что отвечать на этот вопрос, и только как-то нерешительно мялся.

– Больно болтлива она. Всякие пустяки мелет. Вспомяни меня, что ей когда-нибудь языкотрежут, – пророчески добавил Меншиков.

На этот раз расспросы князя прекратились. Он спешил ехать к государыне с докладом о герцоге. Но в голове его мелькали еще лица, которых он считал недружелюбно расположенными к себе; в числе их была царевна Елизавета Петровна, а также и царевны «Ивановны», на которых, правда, никто не обращал никакого внимания, да и сверх того, одна из них, вдовствующая герцогиня Курляндская Анна Ивановна, жила в Митаве; но ее-то именно и хотелось Меншикову выжить поскорее оттуда, так как он сам намеревался сделаться герцогом Курляндским, а герцогиня, напротив, хотела подыскать себе такого жениха, который мог бы, женившись на ней, получить курляндскую корону. Такое столкновение и было причиной их взаимной неприязни, не обращавшейся, впрочем, в явную вражду. Подумал Меншиков и о княгине Марфе Петровне Долгоруковой, отец которой пострадал из-за него; но Меншиков не слишком опасался этой молодой женщины, так как пока семейство Долгоруковых находилось к нему в хороших отношениях, а сама княгиня не пользовалась еще таким личным влиянием, которое могло бы обратиться в оружие, вредное для временщика. Не нравились только ему близкие ее отношения к Волконской; но предположенная им расправа с этой последней должна была разрушить союз Долгоруковой с Волконской, если бы такой союз твердо установился между ними.

В это время к парадному подъезду подъехала большая и тяжелая карета, с кузовом в виде плоского купола, над которым блистала огромная княжеская корона. Карета с зеркальными стеклами, обитая внутри темно-красным бархатом, блистала снаружи яркою позолотою, перемешанною с различными узорами и рисунками и с гербом князя Ижорского на дверцах. За каретою выстроились сидевшие на превосходных конях шесть вершников, по два в ряд, а около нее по сторонам каретной дверцы находились два гайдука в ожидании выхода князя, чтобы посадить его на отложенную в пять ступенек каретную подножку.

Положив в боковой карман своего кафтана написанный секретарем указ и накинув епанчу*, Меншиков сел в карету. Прислуга знала уже заранее, что князь отправляется к государыне, так как вперед него никуда не был послан ездовой, обыкновенно скакавший во всю прыть для предварительного извещения той особы, которую достаивал «светлейший» своим посещением и которая должна была заблаговременно приготовиться для встречи именитого гостя. Только к одной государыне князь не позволял себе отправлять такого посланца.

VII

Еще при жизни Петра Великого, лет за пять до приезда в Петербург графа Рабутина, сюда явился один из польских панов, по фамилии Грудзинский. Приехал он не в качестве какого-нибудь дипломатического агента и не в качестве искателя приключений, каких в Петербурге тогда являлось немало с предложением государю различных проектов или только своих личных услуг. Пан Грудзинский был человек весьма почтенный и состоятельный и имел весьма важное в тогдашней Польше звание старосты. Приехал он в Петербург только из дружбы к польскому магнату Яну Сапеге*, известному и знатностью своего рода, и своим громадным богатством, – и притом приехал в качестве свата. В Польше, где внимательно следили за положением дел в России, знали и отчасти, быть может, преувеличивали то действительно большое значение, какое имел князь Меншиков при царе Петре Алексеевиче. Да и кроме того, Меншиков был лично знаком полякам, так как он начальствовал над бывшими там русскими войсками и даже одержал при Калише* одну из главных побед над противниками польского короля Августа II шведами. Польские магнаты в князе Меншикове, при усилившемся влиянии России на дела их отечества, могли видеть значительную поддержку для партии, к которой принадлежал тот или другой, и из них Ян Сапега захотел воспользоваться такой поддержкой для усиления своей партии; быть может, ему, в случае ее успехов, грезилась даже королевская корона. Да и отчего бы не могло это случиться на самом деле? Если король шведский Карл XII нашел возможным посадить на польский престол Станислава Лещинского*, менее знатного и менее родовитого пана, чем Ян Сапега, то почему не мог сделать то же самое, при известных обстоятельствах, и русский царь Петр в отношении преданного ему такого важного магната, каким был Ян Сапега?

Как бы то ни было, но староста Грудзинский приехал в Петербург в качестве свата с письмом от Яна Сапеги, в котором заключалась просьба о руке старшей дочери Меншикова, княжны Марии, для сына Яна Сапеги – Петра*. Эта брачная чета была еще в ребяческом возрасте: жениху было лет тринадцать, а невесте еще менее. Но слишком ранние браки не были тогда редким явлением ни в Польше, ни в России. Очень часто и там, и здесь выдавали девушек замуж в то время, когда они забавлялись детскими играми. Сверх того, при сватовстве – в особенности между знатными семействами в Польше – дело шло не столько о самом браке, сколько о заблаговременной помолвке. Браком же можно было и повременить в случае крайней молодости жениха или невесты или их обоих, но семейства, просватавшие жениха и невесту, считались уже родственными и усердно поддерживали одно другое.

«Такое родство было бы, пожалуй, мне и кстати. Курляндия состоит под верховною властью Польши, и от польского сейма зависит избрание герцога, а между тем голос Сапеги и голоса его сторонников должны иметь на сейме большую силу», – рассуждал Меншиков, начавший еще при Петре Великом подумывать о том, чтобы сделаться герцогом Курляндским.

Независимо от этого вообще родство с Сапегами для такого выскочки, как Меншиков, должно было казаться честью; но по мере возвышения он не удовлетворялся уже такою брачною связью и рассчитывал посредством браков своих дочерей породниться с германскими владетельными князьями. Такой союз казался ему как-то важнее, чем союз с Сапегою, все-таки невладетельной фамилией. Кто знает, быть может, он уже и тогда рассчитывал на возможность брака своей дочери с великим князем Петром Алексеевичем.

Не желая, однако, упустить окончательно все-таки подходящего во многих отношениях жениха, каким был подрастающий Петр Сапега, Александр Данилович не послал отцу его решительного отказа. С своей стороны и пан староста стал действовать настойчивее и, зная о могуществе Меншикова вследствие вступления на престол Екатерины, отправил в Петербург своего сына.

Не многие из мужчин могли рассчитывать на такие блестящие победы над женщинами, как этот юноша. С внешностью, которая поражала и красотой, и стройностью, он соединял ловкость и смелость, отличаясь в то же время и светскою обходительностью. Разумеется, петербургские дамы и девицы не замедлили плениться таким очаровательным молодым человеком, а в числе их была и княжна Марья Александровна. Полюбился молодой Сапега и Меншикову, до такой степени, что он пригласил его на житье в свой дом. Екатерина Алексеевна оказалась также неравнодушна к красавцу поляку и желала, чтоб он оставался в Петербурге. Устроить это было легко: стоило только женить Петра Сапегу на Меншиковой, а потому она с своей стороны принялась убеждать Меншикова согласиться на предложенный брак. При благосклонности ее к Петру Сапеге не был забыт и Меншиков, сыну которого была предложена самая богатейшая в России невеста – княжна Варвара Алексеевна Черкасская, но сердце блестящего гофмаршала принадлежало уже другой – Наталии Федоровне Лопухиной.

12 марта 1726 года в великолепном доме Меншикова собралась вся тогдашняя петербургская знать. Залы этого дома наполнились гостями. В одной из них был поставлен богатый аналой*, с положенными на нем крестом и Евангелием, а на столе, покрытом алым бархатом, стояло золотое блюдо с обручальным кольцом. Среди находившихся здесь гостей выдавался особенно жених-красавец Петр Сапега – высоким ростом, статностью и молодецкой осанкой. На нем был надет атласный, голубого цвета жупан, а поверх этого коренного польского одеяния был надет заимствованный поляками с востока кунтуш – другой кафтан из белого атласа, рукава которого, по обычаю, соблюдавшемуся у поляков в торжественных случаях, были надеты на руки и заложены концами на плечи. Кунтуш был перетянут великолепным, литым из серебра поясом, а на осыпанной драгоценными камнями рукоятке кривой, в позолоченных ножнах сабли лежала большая, с четырехугольной верхушкой, из голубого бархата шапка с собольим околышем и с пером цапли, прикрепленным богатым бриллиантовым аграфом*, подаренным императрицею. Большой, с остроконечными концами ворот рубашки, разложенный по воротничку кунтуша, был зашпилен бриллиантовой запонкой, составлявшей по величине и по радужной игре камней самую главную драгоценность в сокровищнице Сапег, считавшихся одними из первых богачей тогдашней польской магнатории*. На ногах у жениха были высокие сапоги красного цвета, так как большие паны и шляхтичи, следуя издавна установившейся моде, носили сапоги такого цвета, какого был щит их герба.

Среди пожилых гостей выдавался также и сановитый отец Петра Сапег, с длинными, опущенными книзу усами, высоким крутым лбом и с голубыми навывкате глазами. Коренной польский магнат, относившийся небрежно к своим собратам в Польше и презрительно обращавшийся с заурядными своими братьями-шляхтичами, был теперь, по-видимому, наверху самодовольства, вступая в родство с таким проходимцем, каким был сам по себе светлейший князь Меншиков, герцог Ижорский. Но все прошлое давно было уже забыто, и Меншиков, достигший теперь вершины своего могущества, был окружен королевскою пышностью.

Рядом с своей матерью и младшею сестрой стояла невеста. Никто не мог бы назвать эту черноволосую, смуглую, с продолговатым лицом и длинным носом девушку красивой, и только кроткий взгляд ее больших темных глаз и добрая улыбка, в соединении с очень раннею молодостью, придавали некоторую приятность ее лицу. Великолепный наряд невесты как бы служил к этому добавкой: на плечах ее, как княжны или принцессы Священной Римской империи, была накинута пунцовая бархатная мантия, подбитая горностаем и застегнутая у шеи огромным бриллиантовым аграфом; на голове была небольшая, блестящая разноцветными лучами корона, а корсаж, крепко стянутый на ее не сложившемся еще окончательно стане, отливал игрою драгоценных камней и жемчуга ослепительной белизны.

Впереди всех гостей, в расстоянии от них на несколько шагов, стоял отец невесты, в расшитом золотом кафтане и в парике с длинными локонами. Он смотрел на дверь залы, ожидая,

когда будет подан знак о приближении государыни, чтобы выйти к ней навстречу на парадную, богато украшенную лестницу.

Несмотря на свое могущество и на ту полную зависимость, в которой находилась от него императрица, он оказывал ей, при посторонних людях, не только подобающее ее высокому сану уважение, но и раболепное благоговение, понимая очень хорошо, что с величием бывшей мариенбургской пленницы соединено его собственное величие и властительское его обаяние.

По данному знаку он быстро вышел на лестницу, и вскоре на хорах обширной залы раздались звуки труб и гром литавр, возвестившие о прибытии государыни. В предшестве обер-гофмаршала Левенвольда, разряженного в кружева и ленты и считавшегося первым шеголем в тогдашнем Петербурге, и сопровождаемая следовавшим за нею на почтительном расстоянии князем-герцогом, вступила в залу Екатерина, встреченная почтительными поклонами всех присутствовавших. Пройдя через ряд заранее еще расступившихся гостей, она милостиво дала поцеловать свою руку жениху и невесте и как бы ободрила их своим благосклонным взглядом. Императрица взшла на приготовленное для нее под бархатным балдахином у одной из стен залы возвышенное место и села на приготовленное там для нее кресло.

Обыкновенно привыкли воображать Екатерину, «чернобровую жену» Петра, красавицей, подходившей по росту к «чудотворцу-исполину», и даже портреты ее стараются засвидетельствовать об этом. Но во время своего царствования она не отличалась ни красотой, ни станом. Екатерина была тогда женщиною уже пожилых лет, и, разумеется, к этой поре должна была поблекнуть та свежесть молодости, которая прельщала когда-то и сподвижников царя, и наконец, как надобно полагать, прельстила его самого в простой латышской девушке Марте. Но и при этом условии в ней могла сохраниться та величавость, какую должна была бы отличаться царица. На деле, однако, и этого не было. Екатерина была приземистая и толстая женщина без всякой осанки. Ее низкий рост и неуклюжесть стана чрезвычайно поразили увидевшую ее в первый раз маркграфиню Байретскую, которая и сохранила в своих любопытных «записках» подробное описание наружности Екатерины, не отличавшейся ни выражением лица, ни изящными чертами.

Императрица приехала на обручение княжны в сопровождении придворных, среди которых по своей красоте особенно выдавалась ее недавно назначенная статс-дама Наталья Федоровна Лопухина. Она отличалась и простотою наряда. На ней не было ни жемчуга, ни драгоценных камней. Сама она, как девушка из небогатой немецкой семьи Балков, не получила богатого приданого, а после разгрома, нанесенного Петром Великим семейству Лопухиных и его родственникам, муж Наталии не был настолько богат, чтобы доставить жене те дорогие украшения, которые обыкновенно в прежнюю пору собирались в боярских семействах в нескольких поколениях, переходя от одного из них к другому, которые так любили выставлять напоказ русские барыни прошлого столетия.

Тотчас после того, как государыня заняла свое место, начался обряд обручения, после которого один из ближайших друзей князя, архиепископ новгородский Феофан Прокопович, произнес «предику»*, в которой, сверх пожеланий всякого благополучия обрученной чете, слышались похвалы – и, разумеется, крайне напыщенные – как князю Меншикову, так и родившейся с ним фамилии Сапег.

Императрица выразила свою благосклонность жениху и его отцу, и так как им не нужно было никаких подарков, то были назначены почетные награды. Старик Сапега был прямо пожалован в русские генерал-фельдмаршалы, а сын его – в действительные камергеры.

Обручение закончилось пышным пиром в доме Меншикова: там происходили танцы, подавали изобильный и роскошный ужин с дорогими винами, и наконец была неизбежная в ту пору для мужчин попойка, в которой особенно деятельное участие принимали «знатные мужеского пола персоны».

VIII

Если собравшаяся в доме Меншикова петербургская знать обращала особенное внимание на Наталью Лопухину, бывшую тогда в полном расцвете своей красоты, то многие, хотя и сдерживаемые особою почтительностью, пристально засматривались на стоявшую около кресел императрицы молодую девушку. Девушка эта, цесаревна Елизавета, лет семнадцати, довольно высокая, чрезвычайно стройная, с распущенными по плечам русыми локонами и голубыми глазами, казалась сказочной русской красавицей – такой красавицей, какую исстари создало воображение русского человека. Она, по-видимому, совершенно равнодушно смотрела на то, что происходило в зале, но на деле очень зорко следила за Лопухиной, о красоте которой тогда так много говорили. Какое-то тайное недружелюбие, как будто зависть и даже ревность, почувствовала она к этой молодой женщине, которая хотя и была старше ее годов на семь, но, как было заметно, очаровывала всех не только своею наружностью, но и своею бойкою любезностью. Елизавете казалось, что она должна была бы уступить Лопухиной, если бы когда-нибудь в жизни им пришлось встретиться как соперницам. Елизавета в эту минуту не соображала, что те любезности, которые могли оказывать мужчины Лопухиной, они не могли оказывать ей, как цесаревне. В особенности неприятно казалось ей, что на Лопухину засматривался Александр Петрович Бутурлин, один из самых блестящих придворных красавцев того времени. К нему сама Елизавета чувствовала уже затаенное сердечное влечение – чувствовала ту первую любовь, которая так сильно и безотчетно начинает тревожить сердце девушки и порождает вражду к той, кто кажется ей соперницей.

Пересуды и сплетни господствовали тогда сильно в небольшом еще петербургском высшем обществе, где все было наперечете и, так сказать, на глазах друг у друга. Привычка московских «кумушек» оговаривать с особенным удовольствием молодых женщин перешла и в Петербург, получив здесь еще более применения, так как при начавшихся выездах женщин в общество представлялось теперь более случаев и более поводов говорить и были, и небылицы. В особенности задавала большую работу злым языкам Наталья Федоровна Лопухина. Она была не только молодая и хорошенькая женщина, но и жила не в ладах и даже врозь с своим мужем, который дал ей полную волю проводить время, как она хочет, и даже до такой степени был в этом случае равнодушен, что, как пишет леди Рондо*, «когда его поздравляли с новорожденным сыном и спрашивали о здоровье его жены, то он беззастенчиво предлагал поздравляющим и спрашивающим относиться к Левенвольду».

Семейство, к которому принадлежала по своему рождению Лопухина, и по мечу, и по прялке было известно происходившими в нем соблазнами: и Матрена Ивановна Балк, мать Лопухиной, и брат ее, придворный кавалер Вильям Монс, еще весьма недавно заставили так много говорить об их любовных похождениях. Примешивались к тому и другие еще обстоятельства; семейство Лопухиных, родственное семейству царскому, было при Петре Великом в опале и в загоне, а теперь фамилия эта если и не начала возвышаться снова, то уже входила в милость при дворе, именно на первый раз в лице хорошенькой Натальи Федоровны, конечно, в память Вильяма Монса, погибшего на плахе из-за Екатерины.

С своей стороны Елизавета не могла относиться сочувственно к Лопухиным, так как Евдокия Федоровна Лопухина была по своим правам соперницей ее матери, Екатерины, или прежней Марты.

Пир, который после обручения шел в доме князя Меншикова, мог с первого взгляда показаться одним из тех блестящих балов, которые давались в богатых и знатных домах тогдашней Западной Европы, а по своей великолепной обстановке не только не уступал торжественным собраниям бывших владетельных особ во Франции, Италии и Германии, но, пожалуй, и превосходил их. Здесь было то же самое роскошное убранство комнат, залитых светом вос-

ковых свечей, горевших в бронзовых канделябрах, в спускавшихся с потолков хрустальных люстрах и отражавшихся бесчисленными огнями в громадных венецианских зеркалах, а также на позолоте стен, плафонов и мебели. Здесь была та же роскошь драпировок из шелковых тканей и бархата на окнах и на дверях. Вообще же вся обстановка новопожалованного князя была совсем уже не то, что в прежних боярских хоробах с их дубовыми столами и скамьями, затканными камкой или персидскими коврами, без тех дополнительных роскошных украшений, которые становились теперь обычной принадлежностью в жилищах русской знати, поселившейся в Петербурге.

На столах, приготовленных для ужина, были расставлены груды деревянной посуды, а на особом столе, накрытом на возвышении под балдахином, были поставлены только четыре прибора. Стол этот, предназначенный для императрицы, двух ее дочерей и зятя ее, герцога Голштинского, был загроможден золотою посудой, в числе которой были и приобретенные за границей древние драгоценные кубки венецианской и флорентинской работы. Около столов суежилась многочисленная прислуга, одетая в ливрею князя Ижорского.

В громадной зале, где происходили танцы, играли музыканты – иноземцы. Оркестр князя Меншикова по нынешнему времени показался бы не только слабым, но и жалким. Но в ту пору он был вполне удовлетворителен и не оставлял желать ничего лучшего, так как тогда даже в тех странах, где музыкальное искусство достигло высшего развития, не только бальные, но и оперные оркестры были весьма немногочисленны по их составу и по разнообразию инструментов. Самое большое число музыкантов, составлявших оркестр, не превышало десяти – двенадцати человек, причем волторны и литавры были главными инструментами.

По существовавшему тогда придворному этикету представители иностранных держав отдавали сидевшей в танцевальной зале на возвышении императрице «глубочайший респект». Стоявший около возвышения гофмаршал называл являвшихся к государыне дипломатов по их званиям и фамилиям, а они с низкими поклонами, прижимая к сердцу свои треуголки, вычурною поступью приближались к государыне, и когда она протягивала им руку, то они, всходя на ступени возвышения, почтительно целовали ее. После этого представления начались танцы.

Вследствие частых побывок Петра и близких к нему лиц в Польше при русском дворе при водворении танцев был введен и польский, как танец не только торжественный, но и подходящий для каждого и для каждой, несмотря на самый почтенный возраст, а вместе с тем и как вполне доступный по своей простоте и не требовавший предварительного обучения. В первой паре пошла императрица с светлейшим хозяином; за ними шли герцогиня Голштинская с молодым Меншиковым, а далее герцог Голштинский с невестою и цесаревна Елизавета с графом Рабутиным. После нескольких кругов польского начались другие танцы, которым как русских кавалеров, так и русских дам и девиц научили не только в Петербурге, но и в самых отдаленных уголках России, даже в Сибири, пленные шведы, большие любители таких увеселений.

Теперь в нарядах, введенных Петром Великим, недавние русские боярыни и боярышни казались уже французскими герцогинями и маркизами. Не было уже видно здесь ни московских ферязей, ни прабабушкиных головных уборов, которые заменялись парикмахерскими куафюрами*, искусственными цветами и париками и подвешенными локонами с примесью различных бриллиантовых украшений. Шелковые ткани, бархат, ленты и кружева составляли теперь существенную принадлежность дамского наряда, но зато самая главная принадлежность нынешнего бального туалета – перчатки – не были еще в употреблении; дамы и девицы тогдашней поры являлись на вечера с голыми ручками или руками. Только Елизавета Петровна, сделавшаяся со времени своего вступления на престол первою щеголихою в своей и тогда еще обширной державе, стала носить на балах перчатки. Но с этою принадлежностью наряда было немало хлопот. Закупать для Елизаветы перчатки, или – как их тогда называли и русские дамы, и сама императрица – «рукавицы», поручаемо было русским дипломатическим агентам, нахо-

дившимся в Париже, и много повозились там с такими закупками сперва русский посланник, известный князь Антиох Кантемир, а потом и поверенный в делах Бахтеев. Они запаздывали нередко с их присылкою, за что, как видно из дел иностранной коллегии, не только получали замечания, но и выговоры. Присылка от «дофинши» русской императрице дюжины перчаток считалась тогда истинно королевским подарком. Да и позднее даже римско-немецкая императрица Мария-Терезия очень часто обходилась в Вене без перчаток в таких торжественных случаях, где ей приходилось выставлять напоказ свое королевско-императорское величие.

Если, однако, ближе бы присмотреться к гостям и гостьям, бывшим на пиру у герцога Ижорского, то оказалось бы, что приемы их взаимного обращения и вся общественная складка слишком разнились от того, что представлялось в этом отношении на Западе, давно уже привыкшем к собраниям такого рода. Дамские самые богатые наряды не отличались ни вкусом, ни изяществом, так как грубая роскошь проявлялась в них наряду только с попыткою одеться на западноевропейский лад. Слишком много было здесь и неуклюжего, и не соответствовавшего одно другому. Об обаятельности, а тем более об утонченности обращения не могло быть и речи. Не привыкшие еще к общественной жизни петербургские дамы жалась в кучку одна к другой; кавалеры, в свою очередь, не знали, куда стать и как держать руки, а подучившиеся светскости у иностранцев выдавали свой еще плохой в этом случае навык натянутостью и искусственностью. Только весьма немногие из русских дам, как, например, Волконская, Долгорукова и Лопухина, с детства освоившиеся с кружком образованных иностранцев, отличались от своих соотечественниц тою развязностью, находчивостью и любезностью, какие усвоили себе представительницы их пола в других европейских странах.

Среди собравшихся у Меншикова гостей, преимущественно «знатных персон», были еще и такие лица, которые, не занимая особенно высокого служебного положения, пользовались посредством разных путей, или – как тогда стали выражаться – посредством «каналов», большим или меньшим влиянием на дела всякого рода, а между прочим, отчасти и на дела государственные. Здесь можно было увидеть, например, Маврина*, состоявшего при великом князе Петре Алексеевиче и оказывавшего на своего питомца такое влияние, которое стало озабочивать слишком ревнивого к своей власти Меншикова. Ходил по залам Меншикова и ловкий, занимавшийся темными делами прежний денщик Петра Первого, а ныне член военной коллегии Егор Пашков*. По внешности своей особенно выдавался среди гостей одетый в богатый французский костюм «араб Петра Великого» Абрам Петрович Ганнибал*.

Внимательный наблюдатель мог бы подметить, что все собравшиеся в доме Меншикова дамы и мужчины составляли как бы свои особые, тесные кружки; представители и представительницы этих кружков, сходясь между собою, осматривались кругом и менялись один с другим короткими замечаниями, перешептывались и прекращали разговор, когда приближался к ним кто-нибудь не из их стана. Трудно было догадаться, о ком или о чем велась беседа, но бросаемый по временам арабом взгляд, с выдающимися на его черном лице белками, и оскаливаемые им белые зубы могли наводить на мысль, что в той среде, где он находился, он встречал немало своих врагов. Пашков своими рысьими глазами зорко следил за некоторыми из гостей; целью его наблюдений было подметить, к кому из гостей с особенною благосклонностию обращался хозяин-временщик. Надобно, однако, полагать, что такое наблюдение не могло сопровождаться особенным успехом. Горделиво прохаживался Меншиков по отъезде императрицы по своим чертогам. Его плотно стиснутые тонкие губы и нахмуренный лоб как бы свидетельствовали, что он был занят не происходившим у него веселым пиршеством, но думал о чем-нибудь другом, а бросаемые им на гостей суровые взгляды выражали надменность и в то же время наблюдательность. Пристально взглянул он на стоявшего почтительно на его пути араба и грозно с головы до ног окинул глазами Егора Пашкова. Такие взгляды «светлейшего» были не очень приятны тем, на кого они направлялись, а Пашков, опустив голову, заметно смешался. Ему казалось, что Меншиков заглянул ему в душу.

IX

На другой день после торжественного обручения новый генерал-фельдмаршал Ян Сапега продолжительное время беседовал со своим будущим сватом, которому он передавал только что полученные им из Польши сведения. Меншиков то хмурил брови, то весело взглядывал на своего собеседника, так как сообщаемые Сапегою известия были очень разнообразны, и они то отнимали у князя, то придавали ему надежду на успех в его честолюбивых замыслах.

– Король Август* больше ничего, как большой руки плут, – говорил, волнуясь, Сапега, – и недаром я два раза пытался составить против него конфедерацию, чтобы прогнать из Польши. Да, а теперь он хочет нанести вред Речи Посполитой. Он слишком хитрит, делая вид, будто не хочет, чтоб сын его сделался герцогом Курляндским, а между тем, как я узнал достоверно, тайком помогает ему. Скажу тебе, князь, что если я и стараюсь содействовать тебе в твоих замыслах на Курляндию, то делаю это только по дружбе к тебе и по будущему родству с тобою, а собственно, мне и моей партии было бы удобнее, если бы Август пристроил своего сына в Курляндии: тогда бы в самой Польше поднялось против него страшное неудовольствие. Все поляки закричали бы в один голос, что он, как немец, мирволит курляндским немцам и из-за них, а также из-за своего сына забыл принятую им на себя обязанность защищать права и выгоды Речи Посполитой.

– Спасибо тебе, пан Ян, за твою дружбу, – сказал по-польски Меншиков, научившийся говорить на этом языке при своих частых побывках среди поляков. – Если мне будет хорошо, то, поверь, и тебе будет не худо; мы теперь уже свои люди, будем помогать друг другу.

– Знаю, знаю, мой коханий, – перебил Сапега, – мы будем действовать сообща, как добрые приятели.

– Я, сделавшись герцогом Курляндским, помогу, пожалуй, тебе сесть на польский престол. Ведь у меня будет тогда в Польше сильная партия, а именно та, которая доставит мне курляндский престол. Составляй же ее поусерднее, не ленись.

– Что мудреного! – не без заносчивости заметил Сапега. – Я нисколько не хуже, даже гораздо родовитее Собеских и Лещинских*, а ведь и они попали в короли. Да притом, мой коханий пан Александр, если ты, не немец и не лютеранин, сможешь быть герцогом Курляндским, то отчего же мне, Сапеге, поляку и католику, не быть королем польским? Ведь у нас, как ты сам знаешь, каждый шляхтич – пяст*, то есть такое лицо, которое может по праву рождения получить королевскую корону. Нужен только случай – и ничего больше.

– Но ведь и я, по пожалованным мне в Польше имениям и по полученному мною от сейма индигенату*, также польский шляхтич. Следовательно, и я мог бы сделаться королем польским. Только разве по вере моей я не могу быть им.

– Ну уж, приятель, оставь королевство на мою долю, – полушутя сказал Сапега, – а сам прежде всего сделайся герцогом Курляндским: это гораздо легче, да и при всем шляхетском равенстве в Польше все-таки владетельный герцог и польский сенатор, если ты им сделаешься, скорее может попасть в короли, чем простой шляхтич, каким ты у нас числишься.

Хотя разговор этот и имел отчасти шуточный оттенок, но тем не менее слишком широкие честолюбивые помыслы быстро возникли в голове Меншикова, который должен был верить в предопределенное ему на роду счастье, дойдя из ничтожества до той высоты, на которой он теперь находился.

– Нужно, брат, чтоб за твое дело в Польше взялись не одни паны, но и панны; они ловко все сумеют обделать, – сказал Сапега.

– Знаю я их. Ох, какие бойкие! – перебил Меншиков.

– Вот хоть бы и теперь. Положим, что Мориц* – сын короля, хотя и с левой руки, и сам король, как я сказал, тайком помогает ему, а не возмись за него маршалкова Белинская да гет-

манша Потехина – ничего бы не было. Они ему и сильную партию составили, и денег добыли. У нас женщины работают куда как ловко. В любовницы к старикам бескорыстно идут для того только, чтоб влияние на политические дела иметь. Вот хоть бы из-за чего панна Понятовская с вашим Репниным* так близко сошлась? Влюбиться она в него не могла. Денег, разумеется, ей от него не нужно, а через него она делает много такого для Польши, чего Репнин ни для кого другого никогда бы не сделал. Вкрадутся они в душу, уговорят, и сам не почувствуешь, как поддашься красоте, – проговорил Сапега, покручивая свой ус.

– У нас теперь то же самое заводится, да только бабы наши еще не изловчились: не умеют еще прельщать так мужчин, как прельщают ваши; не больно они умелы на этот счет, а уж начинают соваться всюду. Вот хоть бы Аграфена Волконская. Мне хорошо известно, что она с Рабутиным ведет дела вкуче, да и как хитрит: хлопочет только о великом князе Петре Алексеевиче, а мне подпускает в ухо, что устраивает это дело для меня... Так я этому и поверю!

Меншиков как будто спохватился и несколько призамялся. Он сообразил, что Рабутин старается о браке великого князя с дочерью Меншикова, так что обрученный Петр Сапега останется, пожалуй, и без невесты. На Меншикова, думавшего теперь не только о герцогской, но и о королевской короне, нашло какое-то мимолетное затмение, часто испытываемое людьми, занятыми какою-нибудь преобладающею мыслью, но говорящими о другом.

– А что ж, иметь такую сторонницу не худо, – заметил Сапега, – промаху она не даст, а Рабутин, сам ты знаешь, теперь едва ли не самый близкий человек к государыне, постоянный ее советник.

– Много, ясновельможный пан, наберется у нас всяких советников, – с негодованием перебил Меншиков. – Вот хоть бы герцог Голштинский: забрался в Верховный тайный совет против моей воли и теперь всем вертеть хочет. Да что герцог: даже и граф Бассевич*, его министр, который – сказать кстати – совсем здесь не нужен, тоже в наши дела суется. Вздумал посылать в Верховный совет свои мнения, да еще как хитро справляет их: пошлет да и повторит при этом слова царя Петра Алексеевича, что «мнение-де не в указ», так, мол, господа министры Верховного совета, не обижайтесь, что учу я вас делать по-своему, а не по-вашему.

– Зачем же ты им волю даешь? Разве у тебя мало силы?

– Справиться, сват, с герцогом трудно: за него цесаревна Анна; сам-то он по себе ничего не значит, но дочь свою царица любит без памяти, а к Анне пристает всегда на сторону и Елизавета. Выпроводить бы их всех отсюда. Да я так и сделаю, – решительным голосом добавил князь.

– Попытался бы ты подействовать на императрицу чрез моего сынка, – не без оттенка покровительства сказал Сапега. – Что нам таиться друг от друга! Есть у вас, русских, да и у нас славная поговорка: «рука руку моет».

Меншикову неприятно было предложение ему покровительства у императрицы со стороны такого молокососа, каким был Петр Сапега, но в душе он не мог не сознаться, что рассчитывал на это, так как молодой Сапега находился при дворе в таком же положении, в каком был Вильям Монс.

Давнее знакомство Меншикова с Сапегою, начавшееся еще в Польше, кутежи этого пана в веселой компании Петра и не раз доказанная преданность Сапеге царю, назначение Сапеге русским фельдмаршалом и главное – будущее близкое родство Меншикова с ним установило между ними полную откровенность, и могущественный временщик не считал удобным вступать в пререкания с тщеславным паном.

– Да разве одна Волконская принялась за работу по делам государственным, – заговорил он, как будто не обращая внимания на слова Сапеге. – Бабы царство у нас началось, – добавил он, засмеявшись, – так теперь каждая бабенка от важных дел отстать не хочет. Рабутин в шутку наемдни говорил, что «он учит их плести при дворе кружево нового, небывалого еще у нас узора», они и плетут. Кто теперь из баб не суется в вопрос о престолонаследии: и та, и

другая, и третья... И каждая хочет решить по-своему, да так, чтобы меня от дел отставить. Вот хоть бы эта жидовочка, Долгорукова, завела теперь шашни с Рабутиным; я к великому князю Григория Долгорукова* приставил, так она и через него у Петруши-то действовать принялась. За своего отца мстить мне хочет. Наталья Лопухина тоже у царицы за своего молодца Левенвольда хлопочет, да спасибо тебе, сынок твой оттер его, а теперь Левенвольд в прежнюю милость уже не попадет.

Сапега самодовольно улыбнулся при мысли о том успехе, какой имел при дворе Екатерины его красавец сын.

– Вот сумел же угодить Иван* царице. Привез бы ты к нам из Польши десяток молодых, хорошеньких бабенок да паненок. Какого бы они у нас переполоху наделали! Многими бы вертеть стали, чего доброго и до старика Остермана* добрались бы. Так или иначе, а сумели бы и его к своим рукам прибрать. А кстати, как поедешь к себе в Польшу, так не забудь забрать с собою побольше тех китайских материй* и тех сибирских мехов, которые я приказал отпустить тебе, и там раздари тем, кому будет нужно. Ваше бабье до этих вещей большие охотницы, а наши – те больше чистоганом получать любят. Немало раздал им денег бывший австрийский резидент Плейер* за то, что около царицы да у своих мужей его дела успешно налаживали. Да и Долгоруковой Рабутин отсчитал порядком: ведь я все знаю, трудно что-нибудь тайком от меня сделать.

Затем разговор между двумя близкими приятелями перешел снова к самой существенной стороне дела. Сапега стал высчитывать тех своих собратьев-магнатов, которые, как он полагал, поддавшись его внушениям, станут действовать в пользу Меншикова для доставления ему курляндско-герцогской короны. Упомянул также он и о тех знатных польках, которых можно было, по его мнению, привлечь на сторону Меншикова.

Беседа заключилась семейным ужином, после которого Меншиков простился с женою и детьми, сказав им, что он, по повелению государыни, уезжает в ночь на курляндскую границу для осмотра расположенных там русских войск, на случай предполагавшейся в то время высадки датчан и англичан, недовольных тем покровительством, какой оказывала Россия герцогу Голштинскому, врагу короля датского. Такая молва была распущена и при дворе, и по всему городу, так как Меншиков старался сохранить в тайне цель своей поездки. Перед рассветом от княжеского дома тронулся длинный поезд, и наутро в Петербурге узнали, что «светлейший» изволил отъехать к курляндской границе. В городе как будто все вздохнули свободнее и повеселели. Добрых напутствий вслед уехавшему князю ни от кого не слышалось. В тот же день отправился в Польшу генерал-фельдмаршал Сапега, оставив своего сына Петра в доме Меншикова.

На цель отъезда из Петербурга этих лиц люди, ничего не ведавшие в политике и не занимавшиеся ею, не обратили никакого внимания, но недруги Меншикова проникли действительную причину поездки обоих приятелей и громко заговорили о намерениях «светлейшего» быть владетелем Курляндии, высчитывая те неудобства, какие произойдут от этого для России, вследствие разрыва с Польшею, благодаря только честолюбивым исканиям князя. Они собирались и у Волконской, и у Долгоруковой и обдумывали те способы, которыми можно было бы не только восстановить императрицу против Меншикова, но даже и подготовить его полное падение. Казалось, что работа недругов Меншикова в этом направлении шла успешно, чему главным образом помогал герцог Голштинский, усердно поддерживаемый Анной Петровной и ее младшею сестрою. Екатерина начала уже колебаться в своей доверии к прежнему своему покровителю, и дело дошло до того, что было сделано распоряжение о взятии под стражу грозного временщика немедленно по возвращении его из Курляндии в столицу.

X

Глухою осенью 1694 года в длинном и темном коридоре старинного замка курфюрстов Ганноверских послышался отчаянный крик; но крик этот тотчас же смолкнул, и те обитатели замка, которых он встревожил среди глубокого сна, не обратили на это особенного внимания, подумав, что крик только почудился им. На другой день на довольно значительном расстоянии от замка, стоявшего среди большого парка и не застроенных еще в то время пустырей города Ганновера, был найден труп чрезвычайно красивого молодого человека. Труп был окровавлен, и на нем было несколько ран, нанесенных острым оружием в спину и в грудь. Раны на спине показывали, что первые удары были нанесены сзади убийцею, вероятно поджидавшим в засаде свою жертву. Преступник открыт не был, и молва говорила, что даже и следствие по этому делу прекращено было по тайному повелению тогдашнего курфюрста Георга*, бывшего потом королем английским. Такое покровительство убийце со стороны государя объясняли тем, что он сам был участником этого злодеяния. Убитым оказался живший в Ганновере шведский граф Кенигсмарк*, успевший сделаться счастливым соперником Георга у его супруги. Не желая делать огласки о нарушении ею верности, курфюрст захотел собственноручно казнить дерзкого волокиту и рассчитаться с ним без свидетелей, что он и сделал, приказав потом преданным ему людям вынести труп графа на прилегавшие к замку пустыри и не разглашать никому о случившемся для избежания всяких толков об этом загадочном происшествии.

Убитый граф Кенигсмарк был человек богатый. Все свои драгоценности, состоявшие преимущественно в бриллиантах, а также и значительные капиталы он отдал на хранение пользовавшемуся в ту пору громкою известностью банкирскому дому Ласторпа в Гамбурге. Когда пришла в Швецию весть о гибели Кенигсмарка, то сестры его, бывшие замужем за знатными в Швеции людьми – одна за Левенгауптом*, а другая за Штейнбоком, – пожелали возвратить себе оставшееся после него наследство, а третья сестра их, Аврора, бывшая еще в девицах, кроме того, дала себе обет отыскать убийцу брата и отомстить ему, и с этою целью она отправилась в Ганновер; но там все ее поиски были безуспешны. Тогда Аврора отказалась быть мстительницею за кровь своего брата, а сестры ее поручили ей хлопотать о наследстве, оставшемся на руках гамбургского банкира. Господин этот оказался человеком не очень добросовестным. Хотя он и возвратил доверенные ему покойным Кенигсмарком драгоценности его сестрам, но от отдачи им денег уклонялся под разными предлогами. Сама Аврора справиться с ним не могла, и ее кто-то надоумил приискать себе могущественного покровителя и, как на подходящую к такому званию особу, указал на курфюрста Саксонского Августа.

Молодая графиня не могла бы нигде отыскать лучшего для себя протектора. Август был одним из наиболее сильных владетелей тогдашней разьединенной Германии и, вдобавок к тому, страстный обожатель женского пола. Стоило только такой прелестной просительнице, какою была Аврора, и притом сироте, обижаемой на чужбине, предстать пред светлейшим курфюрстом, чтобы он явился не только в качестве ее защитника, но и страстно влюбленного рыцаря. Не мог также не полюбить и Аврору такой молодой красавец, каким был курфюрст, величавый, пышный, щедрый и вдобавок крайне смелый в обращении с женщинами. Первая таинственная их встреча, при которой молодые сердца слились во взаимной страсти, произошла в Морицбурге. Там дали они слово любить друг друга до гробовой доски, а через девять месяцев слово это стало плотью в лице новорожденного младенца, которого, в память первого таинственного свидания его родителей в замке Морицбурге, и нарекли Морицем.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.